

Ги де Мопассан

Орля

Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений в 12 т. М., “Правда”, 1958 (библиотека “Огонек”). Том 6, с. 283-429. OCR; sad369 (6.07.2007)

Содержание

Орля. Перевод К. Локса Любовь. Перевод А. Ясной Яма. Перевод К. Локса Избавилась. Перевод К. Локса Клошет. Перевод Н. Коган Маркиз де Фюмроль. Перевод К. Локса Знак. Перевод К. Локса Дьявол. Перевод К. Локса Крещенский сочельник. Перевод К. Локса В лесу. Перевод К. Локса Семейка. Перевод К. Локса Иосиф. Перевод К. Локса Гостиница. Перевод К. Локса Бродяга. Перевод К. Локса

ПРИЛОЖЕНИЕ

Орля (первоначальный вариант). Перевод М. Столярова

Примечания

ОРЛЯ

8 мая. Какой восхитительный день! Все утро я провел, растянувшись на траве перед моим домом, под огромным платаном, который целиком закрывает его, защищает и окутывает тенью. Я люблю эту местность, люблю здесь жить, потому что здесь мои корни, те глубокие, чувствительные корни, которые привязывают человека к земле, где родились и умерли его предки, привязывают его к определенному образу мыслей, к определенной пище, к обычаям и кушаньям, к местным оборотам речи, к произношению крестьян, к запаху почвы, деревень и самого воздуха.

Я люблю дом, где я вырос. Из окон я вижу Сену, которая течет мимо моего сада, за дорогой, совсем рядом со мной, - полноводную и широкую Сену, от Руана до Гавра покрытую плывущими судами.

Налево - Руан, обширный город синих крыш под остроконечным лесом готических колоколен. Хрупкие или коренастые, возглавленные литым шпилем собора, они бесчисленны, и там множество колоколов, которые звонят в голубом просторе прекрасного утреннего часа, распространяя мягкое гудение металла, свою бронзовую песню; когда ветер доносит ее до меня, она звучит то сильнее, то слабее, смотря по тому, пробуждается ли ветер или засыпает.

Как хорошо было это утро!

Часов в одиннадцать крохотный, как муха, пароходик, изрыгая густой дым и хрипя от натуги, протащил на буксире мимо моей ограды целый караван судов.

Вслед за двумя английскими шхунами, красный флаг которых развевался высоко в небе, прошел великолепный бразильский трехмачтовый корабль, весь белый, удивительно чистый, сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему, - так приятно мне было видеть этот корабль.

12 мая. Уже несколько дней меня лихорадит; мне нездоровится или, вернее, мне как-то грустно.

Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды в отчаяние? Как будто самый воздух, невидимый воздух наполнен неведомыми Силами, таинственную близость

которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, это струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мне нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль? Как знать? Все, что нас окружает, все, что мы видим, не всматриваясь, все, с чем мы соприкасаемся, не вникая, все, к чему мы притрагиваемся, не осязая, все, что мы встречаем, не познавая, оказывает быстрое, неожиданное и необъяснимое воздействие на нас, на наши органы и через них - на наши мысли, на самое сердце.

Как глубока эта тайна Невидимого! Мы не можем проникнуть в нее с помощью наших жалких органов чувств. Нам не могут помочь наши глаза, которые не умеют видеть ни слишком малого, “и слишком большого, ни слишком близкого, ни слишком далекого, ни обитателей звезд, ни обитателей капли воды... Нам не может помочь наш слух, который лишь обманывает нас, так как передает нам колебания воздуха превращенными в полнозвучные тона. Наш слух той же природы, что и феи: он чудесно претворяет это колебание в звук и метаморфозой этой рождает музыку, которая придает певучесть немому волнению природы... А что уж говорить о нашем обонянии, более слабом, чем чутье собаки... о нашем вкусе, едва различающем возраст вина!

Ах, будь у нас другие органы, которые творили бы к нашему благу другие чудеса, сколько всего могли бы мы еще открыть вокруг себя!

16 мая. Я болен, это ясно! А я так хорошо чувствовал себя последний месяц! У меня лихорадка, жестокая лихорадка, или, вернее, лихорадочное возбуждение, доставляющее не меньше страданий моей душе, чем телу. Все время у меня ужасное предчувствие угрожающей мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое, несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти.

18 мая. Я посоветовался с доктором, потому что стал страдать бессонницей. Он нашел у меня учащенный пульс, расширение зрачков, повышенную нервозность, но не обнаружил ни одного тревожного

симптома. Мне нужно принимать душ и пить бромистый калий.

25 мая. Никакой перемены! В самом деле, какое странное состояние! Лишь только близится вечер, мною овладевает непонятное беспокойство, как будто ночь таит страшную для меня угрозу. Я наскоро обедаю, потом пытаюсь читать, но не понимаю ни слова, еле различаю буквы. Тогда я принимаюсь ходить взад и вперед по гостиной под гнетом смутной, но непреодолимой боязни, боязни сна и боязни постели.

Часам к десяти я подымаюсь в спальню. Едва войдя, запираю дверь на два поворота ключа и задвигаю засов: я боюсь... но чего?.. До сих пор я совершенно не боялся... Я открываю шкафы, заглядываю под кровать, прислушиваюсь... прислушиваюсь... но к чему?.. Не странно ли, что простое недомогание, быть может, некоторое расстройство кровообращения, возбуждение какого-нибудь нервного узла, небольшой прилив крови, ничтожнейший перебой в работе нашей одушевленной машины, столь несовершенной и столь хрупкой, способны сделать меланхоликом самого веселого человека и трусом - храбреца? Затем я ложусь и жду сна, как ожидают палача. Я с ужасом жду его прихода, сердце у меня колотится, ноги дрожат, и все тело трепещет в жаркой постели до тех пор, пока я вдруг не проваливаюсь в сон, как падают в омут, чтобы утопиться. Я не чувствую, как прежде, приближения этого вероломного сна, который прячется где-то рядом, подстерегает и готов схватить меня за голову, закрыть мне глаза, уничтожить меня.

Я сплю долго, два-три часа, потом какое-то сновидение, нет, кошмар, начинает душить меня. Я прекрасно чувствую, что лежу и сплю... Я это чувствую и знаю... но чувствую также, что кто-то приближается ко мне, смотрит на меня, трогает меня, вскакивает на кровать, становится коленями мне на грудь, охватывает руками мою шею и сжимает... сжимает ее... изо всех сил, чтобы задушить меня.

Я сопротивляюсь, но связан той страшной немощью, что парализует нас во сне: хочу закричать - и не могу, хочу пошевелиться - и не могу; задыхаясь, делаю невероятные усилия, чтобы повернуться, сбросить с себя существо, которое давит и душит меня, - и не могу!

И внезапно я просыпаюсь, обезумевший, покрытый потом. Зажигаю свечу. Я - один.

После этого припадка, который повторяется каждую ночь, я наконец спокойно засыпаю и сплю до рассвета.

2 июня. Мое состояние еще ухудшилось. Что же со мной? Бром не помогает, души не помогают. Недавно, чтобы утомить тело, и без того усталое, я отправился прогуляться в Румарский лес. Сначала мне казалось, что свежий воздух, легкий и приятный, насыщенный запахом трав и листьев, вливает в мои жилы новую кровь, а в сердце новую силу. Я пошел большой охотничьей дорогой, потом свернул на Ла-Буй, по узкой тропинке меж двумя полчищами высоченных деревьев, воздвигавших зеленую, густую, почти черную кровлю между небом и мной.

Вдруг меня охватила дрожь, - не дрожь холода, но странная дрожь тоски.

Я ускорил шаг, испугавшись того, что я один в лесу, бессмысленно и глупо устрашась одиночества. И мне показалось, что за мной кто-то идет, следует по пятам, совсем близко, вплотную, почти касаясь меня.

Я резко обернулся. Я был один. Позади себя я увидел только прямую и широкую аллею, пустынную, глубокую, жутко пустынную; и по другую сторону она тянулась тоже бесконечно, совершенно такая же, наводящая страх.

Я закрыл глаза. Почему? И начал вертеться на каблуке, очень быстро, словно волчок. Я чуть не упал; открыл глаза; деревья плясали, земля колебалась; я принужден был сесть. Потом, ах! потом я уже не мог вспомнить, какою дорогой пришел сюда! Дикая мысль! Дикая! Дикая мысль! Я больше ничего не узнавал. Пошел в ту сторону, что была от меня направо, и возвратился на дорогу, которая привела меня перед тем в чащу леса.

3 июня. Я провел ужасную ночь. Хочу уехать на несколько недель. Небольшое путешествие, наверно, успокоит меня.

2 июля. Возвратился. Я исцелен. Кроме того, я совершил очаровательное путешествие. Я побывал на горе Сен-Мишель, которой до сих пор не видел.

Какой открывается вид, когда приезжаешь в Авранш под вечер, как приехал я! Город расположен на холме; меня провели в городской сад,

находящийся на окраине. Я вскрикнул от изумления. Огромный залив неоглядно простирался передо мною, меж двух расходящихся берегов, которые тонули вдаль в тумане; посреди этого беспредельного желтого залива под светло-золотистым небом возвышалась среди песков странная сумрачная островерхая гора. Солнце закатилось, и на горизонте, еще пылавшем, обрисовывался профиль этой фантастической скалы с фантастическим зданием на ее вершине.

На рассвете я отправился к нему. Как и накануне вечером, был отлив, и я смотрел на чудесное аббатство, все ближе выраставшее передо мной. После нескольких часов ходьбы я достиг огромной гряды валунов, на которой расположился городок с большой церковью, царящей над ним. Взобравшись по узенькой крутой улочке, я вошел в самое изумительное готическое здание, когда-либо построенное на земле для бога, обширное, как город, полное низких зал, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах. Я вошел внутрь этой гигантской драгоценности из гранита, воздушной, как кружево, покрытой башенками, куда ведут извилистые лестницы, и стройными колоколенками, которые вздымают в голубое небо дня и в темное небо ночи свои диковинные головы, вздыбившиеся химерами, дьяволами, невероятными животными, чудовищными цветами, и соединяются друг с другом тонкими, искусно украшенными арками.

Взобравшись наверх, я сказал монаху, сопровождавшему меня:

- Отец, как вам, должно быть, здесь хорошо!

- Здесь очень ветрено, сударь, - ответил он, и мы принялись беседовать, глядя, как подступает океан, как он бежит по песку и покрывает его стальной броней.

Монах стал мне рассказывать разные предания, все древние предания этих мест - легенды, много легенд.

Одна из них чрезвычайно поразила меня. Местные старожилы, живущие на горе, утверждают, будто ночью в песках слышны голоса, затем слышно, как блеют две козы, одна погромче, другая потише. Маловеры скажут вам, что это крики морских птиц, похожие иногда на блеяние, иногда на человеческие стоны; но рыбаки, которым случалось запоздать с

возвращением, клянутся, что им встречался во время отлива старый пастух, бродивший по дюнам вокруг маленького, удаленного от мира городка: голова его постоянно закутана плащом, и он ведет за собою козла с лицом мужчины и козу с лицом женщины; у них обоих длинные седые волосы, и оба без умолку говорят и бранятся на неведомом языке, а потом вдруг перестают кричать, чтобы изо всех сил заблеять.

Я спросил монаха:

- Вы верите этому?

Он промолвил:

- Не знаю.

Я продолжал:

- Если бы на земле, кроме нас, жили другие существа, то разве мы не узнали бы о них уже давно? Разве вы не увидели бы их? Разве их не увидел бы я?

Он ответил:

- А разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер, смертоносный, свистящий, стонущий, ревуший, - разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует.

Я замолчал, услышав это простое рассуждение. Этот человек был мудр, а быть может, и глуп. Я не мог этого решить наверно, но все же замолчал. О том, что он говорил, я и сам часто думал.

3 июля. Я плохо спал; здесь безусловно какое-то лихорадочное поветрие, потому что мой кучер страдает тем же недугом, что и я. Возвратившись вчера домой, я заметил, что он как-то особенно бледен. Я спросил его:

- Что с вами, Жан?

- Да вот не могу спать, сударь, ночи убивают меня. После вашего отъезда на меня словно порчу навели.

Остальные слуги, однако, чувствуют себя хорошо, но я ужасно боюсь, что со мной начнется прежнее.

4 июля. Ясно, со мной началось то же самое. Вернулись прежние кошмары. Сегодня ночью я почувствовал, что кто-то сидит у меня на груди и, припав губами к моим губам, пьет мою жизнь. Да, он высасывал ее из меня, как пиявка. Потом он встал, насытившись, а я проснулся настолько обескровленным, разбитым и подавленным, что не мог прийти в себя. Если это продлится еще несколько дней, я, конечно, уеду снова.

5 июля. Не схожу ли я с ума? То, что случилось, то, что я видел нынешней ночью, настолько необыкновенно, что голова у меня идет кругом, едва об этом подумаю.

Вечером, по обыкновению, я запер дверь на ключ, потом, почувствовав жажду, выпил полстакана воды и случайно заметил, что графин был полон до самой хрустальной пробки.

Затем я улегся спать и погрузился в обычный свой мучительный сон, из которого меня вывело часа через два еще более ужасное потрясение.

Представьте себе, что человека убивают во сне, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая, - вот что я испытал.

Когда я пришел в себя, мне опять захотелось пить; я зажег свечу и подошел к столу, на котором стоял графин. Я взял его, наклонил над стаканом, но вода не потекла. Графин был пуст! Он был совершенно пуст! Сначала я ничего не понял, потом меня сразу охватило такое ужасное волнение, что я вынужден был сесть, вернее, упал на стул! Затем вскочил и огляделся вокруг; затем снова сел, обезумев от недоумения и страха при виде прозрачного стекла! Я в упор смотрел на него, стремясь разгадать загадку. Руки у меня дрожали. Значит, вода выпита? Кем же? Мной? Наверно, мной! Кто же это мог быть, кроме меня? Значит, я лунатик, я живу, сам того не зная, двойной таинственной жизнью, заставляющей заподозрить, что в нас два существа? Или же это какое-то другое непонятное существо, неведомое и незримое, которое, когда наша душа

скована сном, оживляет полоненное им тело, повинующееся ему, как нам самим, больше, чем нам самим?

О, кто поймет мою ужасную тоску! Кто поймет волнение человека, находящегося в здравом уме, бодрствующего, полностью владеющего своим рассудком, когда он со страхом ищет сквозь стекло графина воду, исчезнувшую, пока он спал!

И я просидел так до наступления дня, не смея снова лечь в постель.

6 июля. Я схожу с ума. Сегодня ночью опять выпили весь графин; вернее, его выпил я сам!

Но я ли это? Я ли? Кто же тогда? Кто? О господи! Я схожу с ума! Кто спасет меня?

10 июля. Я проделал поразительные опыты.

Решительно - я сумасшедший! Но тем не менее...

6 июля, перед сном, я поставил на стол вино, молоко, воду, хлеб и землянику.

Выпили - или я выпил - всю воду и немного молока. Не тронули ни вина, ни хлеба, ни земляники.

7 июля я повторил опыт, и он дал те же результаты.

8 июля я не поставил воды и молока. Не тронули ничего.

Наконец 9 июля я поставил только воду и молоко, предварительно обмотав графины белой кисеей и привязав пробки. Потом я натер себе губы, усы и руки графитом и лег спать.

Меня охватил непреодолимый сон, за которым вскоре последовало ужасное пробуждение. Во сне я не пошевелился: даже на подушке не оказалось ни пятнышка. Я бросился к столу. Белая кисея, в которую были завернуты графины, оставалась нетронутой. Я размотал тесемки, трепеща от страха. Вся вода была выпита! Все молоко выпито! О боже!..

Сейчас же уезжаю в Париж.

12 июля. Париж. В последние дни я, как видно, совсем потерял голову! Я стал игрушкой расстроенного воображения, если только я действительно не лунатик или не подвергся одному из тех доказанных, но до сих пор не объясненных влияний, которые называются внушением. Во всяком случае, расстройство моих чувств граничило с сумасшествием, но мне достаточно было прожить сутки в Париже, чтобы вновь обрести равновесие.

Вчера после разъездов и визитов, вливших мне в душу свежий живительный воздух, я закончил вечер во Французском театре. Игнали пьесу Александра Дюма-сына; силой своего живого и богатого дарования он довершил мое исцеление. Безусловно, одиночество опасно для деятельных умов. Мы должны жить среди людей, которые мыслят и говорят. Долго оставаясь в одиночестве, мы населяем пустоту призраками.

В отличном настроении я возвращался бульварами в гостиницу. Пробираясь в толпе, я не без иронии вспоминал страхи и предположения прошлой недели, когда я был уверен, - да, уверен! - что какое-то невидимое существо живет под моей крышей. Как быстро слабеет, путается и мутится наш разум, стоит лишь какому-нибудь непонятному пустяку поразить нас!

Вместо того, чтобы сделать простой вывод: “Я не понимаю потому, что причина явления ускользает от меня”, - мы тотчас же выдумываем страшные тайны и сверхъестественные силы.

14 июля. Праздник Республики. Я гулял по улицам. Ракеты и знамена забавляли меня, как ребенка. До чего же, однако, глупо радоваться в определенное число по приказу правительства! Народ - бессмысленное стадо, то дурачки терпеливое, то жестоко бунтующее. Ему говорят: “Веселись”. Он веселится. Ему говорят: “Иди, сражайся с соседом”. Он идет сражаться. Ему говорят: “Голосуй за императора”. Он голосует за императора. Потом ему говорят: “Голосуй за республику”. И он голосует за республику.

Те, кто им управляет, тоже дураки; только, вместо того чтобы повиноваться людям, они повинуются принципам, которые не могут не быть вздорными, бесплодными и ложными именно потому, что это принципы, то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми, - это в

нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чем, потому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук - такая же иллюзия!

16 июля. Вчера я видел вещи, которые меня глубоко взволновали.

Я обедал у моей кузины госпожи Сабле; ее муж командует 76-м стрелковым полком в Лиможе. Я встретился у нее с двумя молодыми женщинами; одна из них замужем за врачом, доктором Параном, который усиленно занимается нервными болезнями и необыкновенными явлениями, обнаруженными в настоящее время благодаря опытам с гипнотизмом и внушением.

Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами нансийской школы.

Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им.

- Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы, - утверждал он, - я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные, - там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет высказать и записать свою мысль, он чувствует рядом с собою какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается возместить их бессилие напряжением ума. Когда его ум пребывал еще в рудиментарном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально-жуткие образы. Так родились народные верования в сверхъестественное, легенды о блуждающих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже, миф о боге, ибо наши представления о творце-зихдители, из какой бы религии они ни исходили, - это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего вернее изречения Вольтера: "Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это сторицей".

Но вот уже немного более столетия, как стали предчувствовать что-то новое. Месмер и некоторые другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние четыре-пять лет, поразительных результатов.

Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран обратился к ней:

- Хотите, сударыня, я попытаюсь вас усыпить?

- Хорошо. Согласна.

Она села в кресло, и он стал пристально смотреть на нее гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство, у меня забилося сердце, сжало горло. Я видел, как веки г-жи Сабле тяжелели, рот искривился, дыхание стало прерывистым.

Через десять минут она уже спала.

- Сядьте позади нее, - сказал мне доктор.

Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку, говоря:

- Это - зеркало. Что вы видите в нем?

Она ответила:

- Я вижу моего кузена.

- Что он делает?

- Крутит ус.

- А сейчас?

- Вынимает из кармана фотографию.

- Чья это фотография?

- Его собственная.

Так оно и было на самом деле! Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу.

- Как он снят на этой фотографии?

- Он стоит со шляпой в руке.

Значит, визитная карточка, белый кусочек картона, давала ей возможность видеть, как в зеркале. Молодые женщины испуганно повторяли:

- Довольно! Довольно! Довольно!

Но доктор приказал ей:

- Завтра вы встанете в восемь часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам займы пять тысяч франков, которые просит у вас муж и которые потребуются ему в ближайший его приезд.

Затем он разбудил ее.

Возвратясь в гостиницу, я размышлял об этом любопытном сеансе, и меня охватили подозрения; я, конечно, не усомнился в безусловной, бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счел возможным плутовство со стороны доктора. Не прятал ли он в руке зеркальце, держа его перед усыпленной молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой? Профессиональные фокусники проделывают ведь еще и не такие удивительные вещи.

Итак, я вернулся в гостиницу и лег спать.

А сегодня утром в половине девятого меня разбудил лакей и доложил:

- Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь.

Я наспех оделся и принял ее.

Она села в большом волнении, опустил глаза, не поднимая вуали, и сказала:

- Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении.

- О каком же, кузина?

- Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. Мне

необходимы, совершенно необходимы пять тысяч франков.

- Полноте! Вам?..

- Да, мне или, вернее, моему мужу, - он поручил мне достать эту сумму.

От изумления я в ответ пробормотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос: уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном, уж не простая ли все это шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная?

Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кухню. Она дрожала от волнения, - настолько тягостна была для нее эта просьба, - и я понял, что она готова разрыдаться.

Я знал, что она очень богата, и заговорил снова;

- Как? У вашего мужа нет в наличности пяти тысяч франков? Подумайте-ка хорошенько. Уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?

Несколько мгновений она колебалась, как будто силясь что-то припомнить, затем ответила:

- Да... да... уверена.

- Он написал вам об этом?

Она снова заколебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно: ей нужно добыть пять тысяч франков для мужа. И она отважилась солгать:

- Да, он мне написал.

- Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили.

- Я получила от него письмо сегодня утром.

- Вы можете мне его показать?

- Нет... нет... нет... оно очень интимное... очень личное... я... я его

сожгла.

- Значит, ваш муж наделал долгов?

Она еще раз заколебалась, потом прошептала:

- Не знаю.

Тогда я сразу отрезал:

- В настоящий момент у меня нет пяти тысяч франков, милая кузина.

У нее вырвался страдальческий вопль:

- О! Прошу вас, прошу, достаньте мне их!..

Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос; одержимая и поработанная непреодолимым приказанием, она плакала и лепетала:

- Умоляю вас... если бы вы знали, как я страдаю... Деньги нужны мне сегодня.

Я сжалился над нею:

- Вы их получите, даю вам слово.

Она воскликнула:

- Благодарю вас, благодарю! Как вы добры!

Я продолжал:

- А вы помните, что произошло вчера у вас?

- Помню.

- Вы помните, что доктор Паран усыпил вас?

- Помню.

- Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня займы пять тысяч франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению.

Немного подумав, она ответила:

- Но ведь их просит мой муж!

Целый час я пытался ее убедить, но не мог ничего добиться.

Как только она ушла, я помчался к доктору. Я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь. Затем спросил:

- Теперь верите?

- Да, приходится верить.

- Едемте к вашей родственнице.

Истомленная усталостью, она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у нее пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам; она медленно спустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти.

Усыпив ее, он сказал:

- Ваш муж не нуждается больше в пяти тысячах франков! Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам займы, и если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать.

После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник:

- Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня утром.

Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей, но она энергично отрицала, думая, что я смеюсь над нею, и в конце концов чуть не рассердилась.

... ..

... ..

Вот история! Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать - настолько этот опыт взбудоражил меня.

19 июля. Многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: “Быть может”.

24 июля. Я пообедал в Буживале, а вечер провел на балу гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное на острове Лягушатни было бы верхом безумия... но на вершине горы Сен-Мишель? Но в Индии? Мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой.

30 июля. Вчера я вернулся домой. Все благополучно.

2 августа. Ничего нового. Великолепная погода. Провожу дни, созерцая бегущую Сену.

4 августа. Среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьет стаканы. Лакей обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, экономка - их обоих. Кто виноват? Догадлив будет тот, кто скажет!

6 августа. На этот раз я уже не безумец. Я видел... видел... видел!.. Теперь уже нечего сомневаться... Я видел!.. Озноб еще пробирает меня до кончиков пальцев... страх еще пронизывает меня до мозга костей... Я видел!

В два часа дня я гулял на солнцепеке у себя в саду, среди розовых кустов... в аллее расцветающих осенних роз.

Остановившись полюбоваться на “Великана битв”, распустившегося тремя восхитительными цветками, я увидел, ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукою, а потом сломался, словно та же рука сорвала его! Потом цветок

поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один, без опоры, неподвижный, повис пугающим красным пятном в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился схватить его! Но не схватил ничего: он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя: нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации!

Но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашел его на кусте, между двух роз, оставшихся на ветке; излом его был еще свеж.

Тогда я возвратился домой, потрясенный до глубины души; ведь теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живет невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и переставлять с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, живет под моим кровом...

7 августа. Я спал спокойно. Он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна.

Задаю себе вопрос: не сумасшедший ли я? Только что, гуляя вдоль реки на самом солнцепеке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, и мои сомнения уже не были неопределенными, как до сих пор, а, наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших: я знавал среди них людей, которые во всем, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли былое здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всем они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапно их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовется безумием.

Конечно, я счел бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нем, анализируя его с полной ясностью. Итак, меня можно назвать рассуждающим галлюцинантом. В моем мозгу, по-видимому, произошло

какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моем уме, в порядке и последовательности моих мыслей. Подобные явления имеют место во сне, который ведет нас сквозь самые невероятные фантазмагии, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены, между тем как способность воображения бодрствует и работает. А не могло ли случиться так, что один из незаметных клавишей моей мозговой клавиатуры оказался парализованным? Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные имена, то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительного, если способность отдавать себе отчет в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена?

Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет - радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест - отрада для слуха.

Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, - тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Меня мучительно тянуло вернуться, как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась.

И вот я вернулся против собственной воли, в уверенности, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость: письмо или телеграмма. Ничего этого, однако, не оказалось, и я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова предо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение.

8 августа. Вчера я провел ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя, чувствую, как он шпионит за мною, неотвязно смотрит на меня, читает в моих мыслях, подчиняет меня своей власти; прячась таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своем невидимом и постоянном присутствии сверхъестественными явлениями.

Тем не менее я спал.

9 августа. Ничего, но мне страшно.

10 августа. Ничего; что-то будет завтра?

11 августа. По-прежнему ничего; я не могу больше оставаться дома, ибо этот страх и эта мысль вторглись мне в душу; я уеду.

12 августа. 10 часов вечера. Весь день я хотел уехать и не мог. Хотел выполнить этот акт свободной воли, столь легкий, столь естественный - выйти, сесть в коляску, отправиться в Руан, - и не мог. Почему?

13 августа. Есть болезни, при которых все пружины нашего физического существа как будто сломаны, вся энергия уничтожена, все мускулы расслаблены, кости становятся мягкими, как плоть, а плоть жидкой, как вода. Все это я странным и печальным образом ощущаю в моем нравственном существе. У меня нет больше никакой силы, никакого мужества, никакой власти над собой, нет даже возможности проявить свою волю. Я не могу больше хотеть. Но кто-то хочет вместо меня, и я повинуюсь.

14 августа. Я погиб. Кто-то овладел моей душой и управляет ею! Кто-то повелевает всеми моими поступками, всеми движениями, всеми моими мыслями. Сам по себе я уже ничто, я только зритель, поработанный и запуганный всем, что меня заставляют делать. Я хочу выйти. Не могу! Он не хочет, и я, растерянный, трепещущий, остаюсь в кресле, где он держит меня. Я хочу хотя бы только подняться, встать, чтобы почувствовать, что я еще господин над самим собою. И не могу! Я прикован к креслу, а оно так приросло к полу, что никакая сила не поднимет нас.

Потом вдруг оказывается, что мне нужно - нужно, нужно! - идти в сад собирать клубнику и есть ее. И я иду. Собираю ягоды и ем их! О боже мой! Боже мой! Боже мой! Есть ли бог? Если есть, пусть он освободит меня, оградит, спасет. Пощады! Жалости! Милосердия! Спасите меня! О, какая мука! Какая пытка! Какой ужас!

15 августа. Несомненно, именно так была одержима и поработана моя бедная кузина, когда пришла ко мне занимать пять тысяч франков. Она подчинялась посторонней воле, вселившейся в нее, словно другая душа, другая, паразитирующая и господствующая душа. Не приближается ли конец света?

Но каков же он, тот, кто управляет мною, этот Невидимка, этот незнакомец, этот бродяга сверхъестественной породы?

Значит, Невидимки существуют! Тогда почему же, от сотворения мира и до сих пор, они никому не показывались так явственно, как мне? Я никогда не читал о чем-либо похожем на то, что происходит в моем доме. О, если бы я мог покинуть его, если бы мог уехать, бежать и не возвращаться! Я был бы спасен, но я не могу.

16 августа. Сегодня мне удалось ускользнуть на два часа, как пленнику, который нашел дверь своей темницы случайно отпертой. Я почувствовал, что стал вдруг свободен, что он далеко. Я приказал поскорей запрягать лошадей и поехал в Руан. О, какая радость, когда можешь сказать: “В Руан!” - человеку, который тебе повинуется.

Я велел остановиться у библиотеки и попросил дать мне объемистый труд доктора Германа Геренштаусса о неизвестных обитателях древнего и современного мира.

Потом, садясь в карету, я хотел сказать: “На вокзал!”, - но крикнул (не сказал, а крикнул) так громко, что прохожие обернулись: “Домой!” - и вне себя от тоски упал на подушки экипажа. Он снова меня нашел и снова овладел мною.

17 августа. О, какая ночь! Какая ночь! А между тем мне следовало бы радоваться. До часу ночи я читал. Герман Геренштаусс, доктор философии и истории религии, написал историю и указал форму проявления всех невидимых существ, носящихся вокруг человека или измышленных им. Он описывает их происхождение, сферу их действия, их силу. Но ни одно из них не походит на то, которое неотвязно преследует меня. Можно сказать, что человек с тех самых пор, как он мыслит, всегда предчувствовал и боялся какого-то нового существа, более сильного, чем он, своего преемника в этом мире, и, чувствуя близость этого властелина, но не умея разгадать его природу, в смятении своем создал целое фантастическое племя сверхъестественных существ, неясных призраков, порожденных страхом.

Так вот, почитав до часу ночи, я уселся возле отворенного окна, чтобы освежить голову и мысли тихим ночным ветром.

Стояла хорошая погода, было тепло. Как я любил такие ночи раньше!

Луны не было. В глубине черного неба трепетно мерцали звезды. Кто населяет эти миры? Какие там формы, какие существа, какие животные, какие растения? Мыслящие существа этих далеких вселенных больше ли знают, чем мы? Могущественнее ли они, чем мы? Способны ли они видеть что-либо из того, что остается непознанным нами? И не явится ли когда-нибудь одно из них, преодолев пространство, на нашу Землю, чтобы покорить ее, как норманны пересекали море, чтобы поработить более слабые народы?

Мы ведь так немощны, так безоружны, так невежественны, так ничтожны на этом вращающемся комочке грязи, разжиженном каплей воды!

Думая над этим, я задремал под дуновением свежего ночного ветра.

Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двинулся, разбуженный каким-то странным, непонятным ощущением. Сначала я не заметил ничего, но потом вдруг мне почудилось, что страница книги, лежавшей на столе, перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал. Минуты через четыре я увидел, да, увидел воочию, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно ее перевернула чья-то рука. Мое кресло было пустым, казалось пустым, но я понял, что он там, что он, сидя на моем месте, читает. Бешеным прыжком, прыжком разъяренного зверя, готового распороть брюхо своему укротителю, я пересек комнату, чтобы схватить его, задушить, убить! Но кресло, прежде чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то бросился бежать от меня... стол качнулся, лампа упала и погасла, а окно шумно закрылось, словно его с размаху захлопнул грабитель, который ринулся в ночь, спасаясь от погони.

Значит, он бежал, он боялся, боялся меня!

Если так... если так... тогда завтра... или послезавтра... или когда-нибудь в другой раз... мне все же удастся сгрести его и раздавить! Разве собаки не кусают, не душат иногда своих хозяев?

18 августа. Я думал целый день. О, да, я буду ему повиноваться, следовать его внушениям, выполнять его приказания, стану кротким,

покорным, трусливым! Он сильнее. Но мой час придет...

19 августа. Я знаю... знаю... знаю все! Я только что прочитал в Обзрении научного мира следующее: “Из Рио-де-Жанейро нами получено довольно любопытное известие. Некое безумие, эпидемическое безумие, подобное заразному помешательству, охватывавшему народы Европы в средние века, свирепствует в настоящее время в провинции Сан-Паоло. Растерянные жители покидают дома, бегут из деревень, бросают свои поля, утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и распоряжаются, как людским стадом, какие-то невидимые, хотя и осязаемые существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна и, кроме того, питаются водою и молоком, не трогая, по-видимому, никакой другой пищи.

Профессор дон Педро Энрикес с несколькими врачами выехал в провинцию Сан-Паоло, чтобы на месте изучить источники и проявления этого внезапного безумия и доложить императору о мероприятиях, которые представляются наиболее целесообразными, чтобы возвратить умственное равновесие обезумевшему населению”.

Так, так! Теперь я припоминаю, припоминаю прекрасный бразильский трехмачтовик, проплывший под моими окнами вверх по Сене 8 мая этого года! Он был таким красивым, таким белоснежным, таким веселым! На нем и приплыло Существо, приплыло оттуда, где зародилось его племя! И оно увидело меня! Оно увидело мой дом, такой же белый, и спрыгнуло с корабля на берег. О боже!

Теперь я знаю, я догадываюсь! Царство человека кончилось.

Пришел он, Тот, перед кем некогда испытывали ужас первобытные пугливые племена, Тот, кого изгоняли встревоженные жрецы, кого темными ночами вызывали колдуны, но пока что не видели, Тот, кого предчувствия преходящих владык земли наделяли чудовищными или грациозными обликами гномов, духов, гениев, фей, домовых. Миновали времена грубых представлений, внушенных первобытным страхом, и люди, более проникательные, стали предчувствовать его яснее. Месмер угадал его, а вот уже десять лет, как и врачи с полной точностью установили природу его силы, прежде чем он сам проявил ее. Они стали играть этим оружием нового божества - властью таинственной воли над

порабощенной человеческой душой. Они назвали это магнетизмом, гипнотизмом, внушением... и как-то там еще. Я видел, как они, словно неразумные дети, забавлялись этой страшной силой! Горе нам! Горе человеку! Он пришел, он... как назвать его... он... кажется, он выкрикивает мне свое имя, а я его не слышу... он... да... он выкрикивает имя... Я слушаю... я не могу... повтори!.. Орля... Я расслышал... Орля... это он... Орля... он пришел!

Ах! Ястреб заклевал голубку; волк растерзал барана; лев пожрал остророгого буйвола; человек убил льва стрелой, мечом, порохом; но Орля сделает с человеком то, что мы сделали с лошадью и быком: он превратит его в свою вещь, в своего слугу, в свою пищу - единственно силой своей воли. Горе нам!

Однако животное иногда выходит из повиновения и убивает того, кто его укротил... я тоже хочу... я бы мог... но нужно знать его, касаться его, видеть! Ученые утверждают, что глаз животного, не похожий на наш, не видит того, что видим мы... Так и мой глаз не может увидеть пришельца, который меня угнетает.

Почему? О, теперь я припоминаю слова монаха с горы Сен-Мишель: “Разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшей силой природы; который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер смертоносный, свистящий, стонущий, ревуший, - разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует!”

И я подумал еще: мое зрение столь слабо, столь несовершенно, что не различает даже твердых тел, когда он” прозрачны, как стекло. Если стекло без амальгамы преградит мне дорогу, я натолкнусь на него, как птица, которая, залетев в комнату, разбивает себе голову об окопные стекла. Кроме этого, множество других явлений вводит в заблуждение, обманывает мой взор. Что же тогда удивительного, если глаза мои не в состоянии увидеть новое тело, сквозь которое проходит свет?

Новое существо! А почему бы и нет? Оно, конечно, должно появиться! Почему бы нам, людям, быть венцом творения? Мы не постигаем это

существо, как и все, созданное до нас. Это потому, что его природа более совершенна, тело более тонко и более закончено, чем наше. А ведь наше тело, столь слабое, столь неразумно задуманное, обремененное органами, вечно усталыми и вечно напряженными, как слишком сложные пружины, наше тело, которое живет, как растение и как животное, с трудом питаясь воздухом, травой и мясом, - что такое наше тело, как не животный организм, подверженный болезням, уродствам, гниению, одышке, плохо отрегулированный, примитивный и прихотливый, на редкость неудачно сделанный, грубое и вместе с тем хрупкое творение, черновой набросок существа, которое могло бы стать разумным и прекрасным?

В этом мире так мало разнообразия в живых существах от устрицы до человека! Почему же тогда не быть еще одному существу, если закончен период последовательного появления определенных видов?

Почему не быть еще одному? Почему бы так же не быть другим деревьям - с огромными ослепительными цветами, наполняющими благоуханием целые страны? Почему не быть другим стихиям, кроме огня, воздуха, земли и воды? Их четыре, только четыре, этих создателей и кормильцев всего живого! Какая жалость! Почему их не сорок, не четыреста, не четыре тысячи? Как все убого, бедно, ничтожно! Как все скупо отпущено, скудно задумано, грубо сделано! Слон, гиппопотам - что за грация! Верблюд - что за изящество!

Но, скажете вы, а бабочка, этот летающий цветок? Да, но я мечтаю о другой бабочке, огромной, как сотня вселенных, а форму, красоту, цвет и движение ее крыльев я даже не в силах выразить. Но я вижу ее... со звезды на звезду несется она, освежая их и навевая аромат гармоничным и легким дуновением своего полета!.. И народы, обитающие там, вверху, восхищенные и очарованные, смотрят, как она пролетает!..

... ..

... ..

Что со мной? Это он, он, Орля, преследует меня, внушает мне эти

безумные мысли! Он во мне, он стал моей душой; я убью его!

19 августа. Я убью его! Я его видел! Вчера вечером я сел за стол и притворился, будто сосредоточенно пишу. Я знал, что он явится и начнет бродить вокруг меня, близко, так близко, что, быть может, мне удастся прикоснуться к нему и схватить его. А тогда... тогда во мне пробудится вся сила отчаяния: я пуцую в ход руки, колени, грудь, лоб, зубы, чтобы задушить его, раздавить, загрызть, растерзать!

И я подстерегал его всеми своими возбужденными нервами.

Я зажег обе лампы и восемь свечей на камине, словно мог обнаружить его при таком освещении.

Прямо напротив меня - моя кровать, старинная дубовая кровать с колонками; направо - камин, налево - старательно запертая дверь, которую я перед этим надолго оставил открытой, чтобы приманить его; сзади - очень высокий зеркальный шкаф, перед которым я каждый день бреюсь, одеваюсь и, по привычке, проходя мимо, постоянно осматриваю себя с головы до ног.

Итак, чтобы обмануть его, я притворился, будто пишу, потому что он тоже следил за мною; и вдруг я почувствовал, ясно ощутил, что он читает из-за моего плеча, что он тут, что он касается моего уха.

Я вскочил и, протянув руки, обернулся так быстро, что чуть не упал... И что же?.. Было светло, как днем, а я не увидел себя в зеркале!.. Залитое светом, оно оставалось пустым, ясным, глубоким. Моего отражения в нем не было... а я стоял перед ним! Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел безумными глазами и не смел шагнуть вперед, не смел пошевеливаться, хотя и чувствовал, что он тут; я понимал, что он опять ускользнет от меня, - он, чье неосязаемое тело поглотило мое отражение.

Как я испугался! Потом вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу; мне казалось, что эта вода медленно струится слева направо и мое отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения. То, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а походило скорее на туманность, которая мало-помалу таяла.

Наконец я мог с полной ясностью различить себя, как это бывало каждый день, когда я смотрелся в зеркало.

Я видел его! Дольше содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании.

20 августа. Убить его, но как? Ведь я не могу его настигнуть! Ядом? Но он увидит, как я подмешиваю яд в воду; а, кроме того, подействуют ли наши яды на его неощутимое тело? Нет... конечно, нет... но тогда... как же тогда?..

21 августа. Я вызвал из Руана слесаря и заказал ему для спальни железные ставни, какие из боязни грабителей делают в первых этажах особняков в Париже. Кроме того, он сделает мне такую же дверь. Пусть меня считают трусом, - мне все равно!..

.....

.....

10 сентября. Руан, гостиница “Континенталь”. Дело сделано... сделано... но умер ли он? Я видел нечто такое, что потрясло меня до глубины души.

Итак, вчера, чуть только слесарь навесил железные ставни и дверь, я все оставил открытым до полуночи, хотя уже становилось холодно.

Вдруг я почувствовал, что он здесь, - и радость, сумасшедшая радость охватила меня. Я медленно поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате и ходил долго, чтобы он ни о чем не догадался; потом снял ботинки и лениво надел туфли; потом закрыл железные ставни и, спокойно подойдя к двери, запер ее на два поворота ключа. Вернувшись вслед за этим к окну, я запер и его на замок, а ключ спрятал в карман.

Я понял сразу, что он заметался возле меня, что теперь и он испуган, что он приказывает мне отпереть. Я чуть было не уступил, но все же устоял и, прижавшись спиной к двери, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы, пятясь, прошмыгнуть самому; я очень высокого роста, а потому задел головой за

притолоку. Я был уверен, что он не мог ускользнуть, и запер его совсем одного, совсем одного! Какая радость! Он был в моих руках! Тогда я бегом спустился вниз; в гостиной, находящейся под спальней, я схватил обе лампы, вылил из них масло на ковер, на мебель, потом поджег все это и бросился бежать, предварительно заперев на два поворота ключа парадную дверь.

И я спрятался в глубине сада, в чаще лавровых деревьев. О, как долго я ждал, как долго! Все было черно, безмолвно, неподвижно; ни ветерка, ни звезд, только громады невидимых облаков, которые тяжело, так тяжело давили мне душу.

Я смотрел на свой дом и ждал. Как долго это тянулось! Я уже думал, что огонь потух сам собой, или он его потушил, но вот одно из нижних окон треснуло под напором огня, и пламя, огромное, красно-желтое пламя, длинное, гибкое, ласкающее, взметнулось вдоль белой стены и лизнуло ее до самой крыши. Свет пробежал по деревьям, ветвям, листьям, а с ним пробежала и дрожь, дрожь ужаса! Встрепенулись птицы, завывала какая-то собака: мне показалось, что наступает рассвет! Тотчас разлетелись еще два окна, и я увидел, что весь нижний этаж моего жилища превратился в ужасный пылающий костер. И вдруг крик, страшный, пронзительный, душераздирающий крик, крик женщины прорезал ночь, и оба окна в мансарде раскрылись! Я забыл о слугах! Я видел их обезумевшие лица, их вздетые руки!..

Тогда, потеряв голову от ужаса, я бросился в деревню, крича: “На помощь! На помощь! Пожар! Пожар!” Я встретил людей, которые уже спешили ко мне, и вернулся с ними, чтобы видеть все.

Теперь весь дом был уже только ужасным и великолепным костром, чудовищным костром, освещавшим все вокруг, костром, на котором сгорали люди и сгорал также Он, Он, мой пленник, новое Существо, новый повелитель - Орля!

Вдруг вся крыша рухнула внутрь, и вулкан пламени взметнулся до самого неба. Сквозь окна я видел огненную купель и думал, что Он там, в этом жерле, мертвый.

Мертвый? Да так ли? А его тело? Ведь его светопроницаемое тело не

уничтожить средствами, убивающими наши тела!

Что, если он не умер?.. Быть может, одно лишь время властно над Существом Невидимым и Грозным. К чему же эта прозрачная оболочка, эта непознаваемая оболочка, эта оболочка Духа, если и ей суждено бояться болезней, ран, немощи, преждевременного разрушения?

Преждевременного разрушения! Весь человеческий страх объясняется этим! После человека - Орля! После того, кто может умереть от любой случайности каждый день, каждый час, каждую минуту, пришел тот, кто может умереть только в свой день, в свой час, в свою минуту, лишь достигнув предела своего бытия!

Нет... нет... несомненно... несомненно... он не умер... Значит... значит, я должен убить самого себя!

ЛЮБОВЬ

Три странички из воспоминаний охотника

В отделе происшествий одной газеты я только что прочел о любовной драме. Он убил ее, потом покончил с собой - значит, он любил. Кто он, кто она, не все ли равно? Для меня важна только их любовь - не потому, чтобы она умилила, поразила, тронула меня или заставила призадуматься, - нет, она напомнила мне об одном странном охотничьем эпизоде времен моей юности, где мне явилась Любовь, как первым христианам являлся на небе крест.

Я родился со всеми инстинктами и чувствами первобытного человека, впоследствии обузданными воспитанием и рассудком. Охоту я люблю страстно, и при виде окровавленной птицы, крови на перьях и у меня на руках я теряю власть над собой.

В том году, к концу осени, внезапно наступили холода, и один из моих кузенов, Карл де Ровиль, пригласил меня к себе пострелять на рассвете уток в болотах.

Мой кузен, сорокалетний рыжий молодец, бородатый силач, помещик, сельский житель, радушный, жизнерадостный полудикарь, обладал тем галльским остроумием, которое даже посредственность делает приятной; дом его, полубарский, полукрестьянский, стоял в широкой долине, где протекала речка. Холмистые ее берега были покрыты лесами - вековыми, феодальными лесами, в которых сохранились великолепные деревья и самые редкие породы дичи, какая только водится в этой полосе Франции. Здесь порой подстреливали орлов; а перелетные птицы, не часто посещающие наши слишком людные края, почти всегда спускались в эту вековую чащу; там они, казалось, знавали или узнавали укромные уголки, которые издавна служили им приютом на время короткого ночного отдыха.

В долине были большие разгороженные пастбища, которые орошались водой из реки, расчищенной до этого места; немного подалее она разливалась, образуя большое болото. Оно было великолепным угодем для охоты, лучшим из всех мне известных, и предметом усердных забот моего кузена, который содержал его словно парк. От густых зарослей тростника оно было живым, зыбким, шелестящим, и плоскодонные лодки, подталкиваемые шестами, проходили узкими протоками, бесшумно скользили по стоячей воде, задевая тростник, разгоняли юрких рыбок, прятавшихся между трав, и вспугивали водяных курочек, черные остроконечные головки которых внезапно исчезали под водой.

Воду я люблю бурной любовью: люблю море, хотя оно слишком большое, беспокойное, непокорное; люблю реки, они красивы, но они несутся мимо, они текут, убегают; и особенно люблю я болота, где трепещет неведомая нам жизнь подводных существ. Болото - это целый мир на земле; здесь свое особое бытие, свои оседлые и странствующие обитатели, свои голоса и шорохи, а главное - своя тайна. Ничто так не волнует, не тревожит и не пугает порой, как болото. Откуда этот страх, витающий над низинами, покрытыми водой? Порождает ли его смутный шорох тростника, призрачные блуждающие огни, глубокое безмолвие, царящее там в тихие ночи, или причудливый туман, словно саван обволакивающий камыш, или, быть может, неуловимый плеск, нежный и легкий, который порой страшит больше, чем грохот пушек и небесный гром, и превращает болота в сказочную, опасную страну, таящую грозную неведомую загадку.

Нет. Другая, более глубокая, более значительная тайна скрыта в густых

туманах, быть может, тайна мироздания! Разве не в стоячей, тинистой воде, не в сырой земле, не просыхающей от солнечного жара, зашевелился, затрепетал и увидел свет первый зародыш жизни?

Я приехал к кузену вечером. Мороз стоял трескучий.

В огромной столовой буфеты, стены, потолок были украшены чучелами ястребов, сов, козодоев, бородачей, сарычей, цапель, соколов, кречетов, висевших с распростертыми крыльями или же сидевших на ветках, которые были прибиты гвоздями; за обедом кузен мой, одетый в куртку из тюленьей шкуры и сам напоминавший какое-то диковинное животное полярных стран, рассказал мне о своих планах на сегодняшнюю ночь.

Мы должны были выехать в половине четвертого утра, чтобы около половины пятого быть на месте, выбранном для засады. Здесь сложили домик из ледяных глыб, чтобы нам было где укрыться от жестокого предутреннего ветра, того студеного ветра, который режет кожу, словно пилами, рассекает ее, как ножом, колет, словно отравленными стрелами, раздирает, точно калеными клещами, и жжет, как огонь.

Кузен потирал руки.

- Небывалый мороз, - говорил он, - в шесть часов вечера было уже двенадцать градусов ниже нуля!

Тотчас же после обеда я лег и уснул, согретый огнем, который пылал в камине.

Меня разбудили ровно в три. Я закутался в бараний тулуп, а кузен Карл облачился в медвежью шубу. Мы наскоро проглотили по две чашки горячего кофе, запили двумя рюмками коньяка и отправились в путь, сопровождаемые егерем и двумя собаками: Плонжоном и Пьеро.

С первых же шагов мороз прохватил меня до самых костей. Это была одна из тех ночей, когда кажется, что вся жизнь замерла от холода. Морозный воздух становится плотным, осязаемым и даже причиняет боль; он не колеблется, он застыл, он неподвижен; он жалит, он пронизывает насквозь, убивает деревья, растения, насекомых и даже мелких птичек,

которые падают с веток на окаменелую землю и тотчас каменеют сами.

Луна была на ущербе; склонясь набок и побледнев, она, казалось, угасала в пространстве и, обессилев, не могла уйти, - осталась там наверху, тоже скованная суровым холодом небес. Она скупо лила на землю тот печальный, тусклый, слабый свет, которым дарит нас каждый раз перед новолунием.

Мы с Карлом шли рядом, пригнувшись, спрятав руки в карманы, а ружья держали под мышкой. Чтобы ноги не скользили по замерзшей реке, мы обернули обувь шерстью и двигались бесшумно; я глядел на белый пар, который клубился от дыхания наших собак.

Вскоре мы очутились на краю болота и пошли по узкой тропинке, тянувшейся через низкорослый лес сухого тростника.

Мы задевали локтями длинные, точно ленты, листья, нам вослед раздавался легкий шорох, и мною овладело сильнее, чем когда-либо, то странное, глубокое волнение, которое охватывает меня при виде болота. Теперь оно умерло, застыло, ведь мы шли по нему среди сухих зарослей камыша.

И вдруг на повороте одной из тропинок я увидел ледяной домик, построенный для нас, чтобы мы могли укрыться. Нам предстояло больше часа ждать пробуждения перелетных птиц, поэтому я вошел туда и, чтобы немного отогреться, завернулся в одеяло.

Лежа на спине, я принялся разглядывать луну, которая сквозь слабо просвечивающие стены полярного домика казалась кривой и четырехрогой.

Но холод замерзшего болота, холод, исходивший от стен, холод, излучаемый небесным сводом, пронизывал меня насквозь; я начал кашлять. Кузен Карл заволновался:

- Не беда, если мы сегодня настроеляем мало дичи, лишь бы ты не простудился; сейчас разведем костер.

И он приказал егерю нарезать тростника.

Посреди домика сложили кучей тростник, в потолке было сделано отверстие для дыма; и когда поднялись яркие языки пламени, сверкающие, кристальные стены начали медленно, чуть заметно таять, - казалось, что ледяные камни запотели. Карл был снаружи, он крикнул мне:

- Иди сюда, посмотри!

Я вышел и остановился, изумленный. Наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевинкой, внезапно выросшим на льду болота. Внутри виднелись две фантастические фигуры: это были наши собаки, гревшиеся у огня.

Вдруг где-то в вышине прозвучал тревожный, дальний крик блуждающей стаи. Пламя нашего костра разбудило дичь. Ничто так не волнует меня, как этот первый зов невидимого существа: быстро несется он издалека в полной тьме, пока еще не забрезжил на горизонте первый свет зимнего дня. Мне чудится, что этот отдаленный призыв, занесенный к нам на крыльях птицы в студеной предрассветный час, - вздох души мира!

Карл сказал:

- Погасите костер. Солнце восходит.

Действительно, небо начало бледнеть, и стаи уток потянулись длинными пятнами, быстро таявшими на небесном своде.

В темноте вспыхнул свет: то выстрелил Карл, и наши собаки устремились вперед.

Теперь каждую минуту то он, то я поспешно нацеливались, как только над камышами появлялась тень пролетающей стаи. А Пьеро и Плонжон, запыхавшись, весело носили нам окровавленных птиц, которые иногда смотрели на нас еще живыми глазами.

Занимался ясный, безоблачный день; солнце вставало на другом конце долины; мы уже собирались домой, как вдруг две птицы, вытянув шею, расправив крылья, неожиданно пролетели у нас над головой. Я выстрелил. Одна из них упала почти у самых моих ног. Это был чирок с серебристым брюшком. И вдруг где-то в пространстве надо мной я услышал крик, крик птицы. Несколько раз повторила она свою краткую горестную жалобу;

маленькая птичка, помилованная судьбой, кружила над нами в синеве неба, не спуская глаз с мертвой подруги, которую я держал в руках.

Карл, стоя на коленях, нацелившись, горящими глазами подстерегал птицу, ждал, чтобы та приблизилась.

- Ты убил самку, - сказал он, - самец теперь не уйдет.

И правда, он не улетал: он все кружил над нами и плакал. Никогда еще стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве.

Боясь охотника, следившего за его полетом, чирок отлетал; казалось, он был готов одиноко продолжать свой путь в поднебесье. Но не мог решиться и снова возвращался за своей самкой.

- Положи ее на землю, - сказал мне Карл. - Он сейчас же подлетит.

И он подлетел, презирая опасность, ослепленный любовью, любовью одного живого существа к другому, убитому мной.

Карл выстрелил; казалось, оборвалась нить, на которой держалась птица. Промелькнул и упал какой-то черный комок, в камышах зашуршало. И Пьеро принес мне птицу.

Я положил их обеих, уже остывших, в ягдташ... и в тот же день уехал в Париж.

ЯМА

Побои и увечья, повлекшие за собою смерть. Таков был пункт обвинения, на основании которого перед судом присяжных предстал обойщик Леопольд Ренар.

Тут же, рядом с ним, главные свидетели: Фламеш - вдова жертвы, Луи Ладуро - столяр-краснодеревец и Жан Дюрдан - лудильщик.

Возле обвиняемого - его жена, вся в черном, маленькая, безобразная, похожая на мартышку, одетую дамой.

Вот что сообщает Ренар (Леопольд) о происшедшей драме:

- Видит бог, от этого несчастья я первый же и пострадал, и никакого умысла с моей стороны не было. Факты говорят сами за себя, господин председатель. Я честный человек, честный труженик, обойщик, проживаю на одной и той же улице уже шестнадцать лет, все меня знают, все любят, уважают, почитают; это вам подтвердили мои соседи и даже привратница наша, а уж она-то шутить не станет. Я люблю работать, люблю откладывать денежки, люблю честных людей и приличные удовольствия. Это-то меня и погубило, сам понимаю; но ведь моей злой волн тут не было; так что я продолжаю относиться к себе с уважением.

Так вот, уже лет пять, как мы с супругой, которая здесь присутствует, проводим каждое воскресенье в Пуасси. По крайней мере дышим свежим воздухом, а потом и рыбку поудить любим, - да, уж нечего греха таить, это дело мы любим. Это моя Мели, чтобы ей провалиться, приохотила меня к нему, да и сама-то она от этого дела с ума сходит, язва этакая; из-за рыбалки-то вся беда и приключилась, как сами сейчас увидите.

Я человек сильный, но тихого нрава, злости во мне ни на грош. Но уж зато она!.. Ой-ой-ой! С виду и не скажешь, такая маленькая, тощая, ну, а на деле зловредней хорька. Не стану отрицать: у нее есть достоинства, и немаловажные для торгового дела. Но характер! Поговорите с соседями, да хоть бы с привратницей, которая только что за меня заступилась. Она вам о ней порасскажет.

Каждый день пилит она меня за мягкость: “Уж я бы этого дела не оставила! Уж я бы такому-то не спустила!” Послушать ее, господин председатель, так мне бы по меньшей мере раза три в месяц драться на кулачках...

Тут г-жа Ренар перебила его:

- Болтай, болтай себе; посмотрим, кто посмеется последним.

Он повернулся к ней и простодушно возразил:

- Что ж такое, на тебя валить можно, ведь не ты в ответе...

Затем вновь обратился к председателю:

- Значит, я продолжаю. Каждую субботу вечером мы, стало быть, отправляемся в Пуасси, чтобы на другой день с самого рассвета половить рыбки. Как говорится, привычка - вторая натура. Нынче летом будет уже три года, как я отыскал одно местечко, да какое местечко! Посмотреть стоит! В тени, футов на восемь глубины, а может, и на все десять, яма с заходами под берег; для рыбы это настоящий садок, а для рыболова прямо рай. Эту яму, господин председатель, я считал своей собственной: ведь я открыл ее, вроде как Христофор Колумб. Все кругом знали про это, и никто не спорил. Так и говорили: "Это место Ренара", - и никто бы не пошел туда, даже господин Плюмо, хотя, не в обиду ему сказать, всем известно, что он любит на чужих местах проедаться.

Так вот, я был спокоен за свое местечко и каждый раз являлся туда как хозяин. Приедем мы в субботу и тотчас вместе с женой садимся в Далилу. Далила - это моя норвежская лодка; я заказал ее у Фурнеза, - вещичка легонькая и прочная. Так вот, говорю, садимся мы в Далилу и отправляемся бросать приманку рыбе. Насчет приманки никому со мной не сравниться - мои приятели это хорошо знают. Вы, может, спросите, на что я приманиваю? Этого я не могу вам сказать. Это к делу не относится, а я сказать не могу, потому что секрет. Пожалуй, человек двести, а то и больше его у меня выпытывали. И рюмочкой угощали, и жареной рыбой, и рыбой по-матросски, чтобы только я проболтался! Еще бы - так и пойдут к ним голавли, хотел бы я посмотреть! А уж как меня обхаживали, лишь бы мой состав выведать. Ну, нет!.. Только моя жена его и знает... да она-то скажет не больше моего! Правда, Мели?

Председатель прервал его:

- К делу! Не отклоняйтесь в сторону.

Обвиняемый отвечал:

- Сейчас, сейчас! Так вот, в субботу, восьмого июля, выехали мы с поездом в пять двадцать пять и, как всегда, отправились перед обедом бросить приманку. Погода обещала быть хорошей. Я сказал Мели: "Завтра будет чудесный денек".

”Похоже на то”, - ответила она. Особенно-то много мы с нею никогда не разговариваем.

Потом вернулись обедать. Я был доволен, захотелось выпить. Вот всему и причина, господин председатель. Я говорю Мели: “Послушай-ка, недурно бы мне выпить бутылочку головогрея”. Это слабое белое вино, а головогреем мы назвали его потому, что если выпить побольше, так оно не дает заснуть, настоящий головогрей! Понимаете?

”Как хочешь, - отвечает она, - только ты опять захвораешь и завтра не встанешь”. Что ж, она рассуждала правильно, умно, толково, предусмотрительно, признаю. Но я не удержался и выпил бутылочку. С этого все и пошло...

Так вот, лег - а заснуть не могу. Черт возьми! До двух часов утра мучил меня этот головогрей из виноградного сока. А потом - трах! - заснул, да так крепко, что не услышал бы и трубы архангельской на Страшном суде.

Короче говоря, жена разбудила меня в шесть часов. Я вскочил с кровати, мигом натянул штаны, куртку, плеснул на морду водой, и мы прыгнули в Далилу. Да поздно! Подъехали к моей яме, а она уже занята! Ни разу этого не случилось, господин председатель, ни разу за три года! Это меня до того ошеломило, как будто меня при мне же обокрали. “Что за черт!” - говорю. А жена начинает меня пилить: “Вот тебе твой головогрей! Эх, ты, пьянчуга! Доволен, скот этакий?”

Я не спорил: все это было правильно.

Все-таки я высадился возле самого того места, чтобы попользоваться хоть остатками. А может быть, он, мошенник, ничего не поймает и уберется прочь?

А сидел там плюгавый малый в белой парусине и большой соломенной шляпе. С ним тоже была жена, толстуха такая, уселась позади него и вышивает.

Увидели они, что мы устраиваемся возле них, толстуха и зашипела: “Что это, нет на реке другого места, что ли?”

А моя разозлилась и отвечает: “Порядочные люди, раньше, чем занять

чужое место, справляются, какие здесь обычаи”.

Я не хотел подымать историю и говорю: “Помолчи, Мели. Оставь их, оставь. Там видно будет”.

Ну, завели мы Далилу под ивы, высадились и стали вместе с Мели удить рядышком, возле тех двоих.

Здесь, господин председатель, мне придется вдаваться в подробности.

Не прошло и пяти минут, как поплавок у соседа начинает нырять раз, другой, третий, - и он вытаскивает голавля, да здоровенного, с мою ляжку, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но почти что такого! У меня сердце так и екнуло, пот выступил на висках, а Мели зудит: “Что, пьяница, видел?”

В это самое время господин Брю, лавочник из Пуасси, любитель пескарей, плывет мимо на лодке и кричит: “Что это, ваше место заняли, господин Ренар?” “Да, господин Брю, - отвечаю я, - бывают такие неделикатные люди, которые не желают считаться с обычаями”.

Плюгавый в парусине делает вид, будто не слышит, то же самое и жена его, толстуха, настоящая корова!

Председатель прерывает во второй раз:

- Будьте повежливей! Вы оскорбляете вдову Фламеш, которая здесь присутствует.

Ренар извинился:

- Простите, простите, очень уж мне обидно.

Так вот, не прошло и четверти часа, как плюгавый в парусине вытащил еще одного голавля, а за ним другого и минут через пять - третьего.

Я прямо готов был заплакать. И вдобавок супружница моя кипит и беспрестанно меня шпыняет: “Что, разиня, видишь, как воруют твою рыбу? Видишь? Тебе и лягушки не поймать, ничего не поймать, ничего. У меня просто руки чешутся, как только я об этом подумаю”.

”Подождем полудня, - решил я про себя. - Негодяй пойдет завтракать, и тогда я захвачу свое местечко”. Надо вам сказать, господин председатель, что я-то сам каждое воскресенье завтракаю тут же, на месте. Мы привозим еду с собой, на Далиле.

Не тут-то было! Наступил полдень, и этот мошенник достал курицу, завернутую в газету, а пока он ел, на его удочку попался еще один голавль!

Мы с Мели тоже перекусили, но так, самую малость, почти ничего, - не до того было.

Потом, для пищеварения, я взялся за газету. По воскресеньям я люблю посидеть в тени над рекой и почитать Жиля Бласа. Это ведь день Коломбины, как вам, наверно, известно, Коломбины, которая пишет статьи в Жиле Бласе. У меня привычка дразнить жену, будто я знаком с ней, с этой Коломбиной. Конечно, я ее не знаю и в глаза-то не видывал, но это неважно: уж больно хорошо она пишет и, кроме того, для женщины выражается очень смело. Мне она по душе; таких, как она, не много.

Начал было я поддразнивать жену, но она сразу же рассердилась, да так, что только держись. Я замолчал.

Как раз в это время к другому берегу пристали наши свидетели, которые находятся здесь, - господин Ладюро и господин Дюрдан. Мы не знакомы, но знаем друг друга в лицо.

Плюгавый снова принялся удить. И так у него клюет, что я прямо весь дрожу. А его жена и скажи: “Место действительно отличное, мы всегда будем приезжать сюда, Дезире”.

У меня озноб прошел по спине. А супружница моя все зудит: “Ты не мужчина, не мужчина. У тебя цыплячья кровь в жилах”.

Тут я сказал ей: “Знаешь, я лучше уйду, а то еще наделаю каких-нибудь глупостей”.

А она так и ест меня поедом, прямо до белого каления доводит: “Ты не мужчина! Удираешь, теперь сам готов уступить место! Ну и беги, Базен”.

Ну, чувствую, взяло меня за живое. А все-таки еще не поддаюсь.

Но вдруг он вытаскивает леща! Ох! Сроду я такого не видывал! Сроду!

Тут уж моя жена заговорила вслух и давай выкладывать все, что у нее на душе. С этого, как увидите, и заварилась каша. “Вот уж, что называется, краденая рыба, - шипит она, - ведь это мы приманили ее сюда, а не кто другой. Хоть бы деньги нам за приманку вернули!”

Тут толстуха, жена плюгавого, тоже заговорила: “Это уж не о нас ли вы, сударыня?” “Я о тех ворах, которые крадут рыбу и нороят поживиться на чужой счет”. “Так мы, по-вашему, украли рыбу?”

И пошли у них объяснения, а потом посыпались слова покрепче. Черт побери, запас у них, мерзавок, большой! Они лаялись так громко, что наши свидетели стали кричать с того берега смеха ради: “Эй, вы там, потише! Не то всю рыбу у мужей распугаете”.

Дело в том, что и я и плюгавый в парусине сидим и молчим, как два пня. Сидим, как сидели, уставившись в воду, словно и не слышим ничего.

Но слышим все отлично, черт их подери! “Вы лгунья!” “А вы девка!” “Вы шлюха!” “А вы скверная харя!” И пошло, и пошло! Матрос, и тот не сумел бы лучше.

Вдруг слышу позади шум. Оборачиваюсь. Смотрю, толстуха ринулась на мою жену и лупит ее зонтиком. Хлоп, хлоп! Два раза Мели получила. Ну, а Мели у меня бешеная: когда взбеленится, тоже кидается в драку. Как вцепится она толстухе в волосы - и шлеп, шлеп, шлеп, - затрецины посыпались, как сливы с дерева.

Я бы и оставил их, пусть дерутся. Женщины сами по себе, а мужчины сами по себе. Нечего лезть не в свое дело. Но плюгавый вскочил, как бес, и собирается броситься на мою жену. “Э, нет, - думаю, - нет, только не это, приятель”. Я его, голубчика, встретил как следует. Кулаком. Бац! Бац! Раз в нос, другой в живот. Он руки вверх, ногу вверх и плашмя бухнулся спиной в реку, в самую-то в яму.

Я бы, конечно, вытащил его, господин председатель, будь у меня время. Но, как на беду, толстуха стала брать верх и так обрабатывала Мели, что лучше не надо. Конечно, не следовало бы спешить на подмогу жене, когда тот хлебал водицу. Но мне и в голову не приходило, что он утонет. Я

думал: “Ничего, пусть освежится!”

Я бросился к женщинам, стал их разнимать. Уж и отделали они меня при этом - и руками, и зубами, и ногтями! Экие дряни, черт бы их побрал!

Короче говоря, мне понадобилось минут пять, а может быть, десять, чтобы расцепить этот репейник.

Оборачиваюсь. Ничего. Вода спокойная, как в озере. А те на берегу кричат: “Вытаскивайте его, вытаскивайте!”

Легко сказать: я ни плавать, ни нырять не умею!

Наконец прибежали сторож со шлюза и два господина с баграми, но на это ушло добрых четверть часа. Нашли его на самом дне ямы, а яма-то глубиной в восемь футов, как я уже говорил; там он и оказался, плюгавый-то, в парусиновой паре.

Вот, по совести, как было дело. Честное слово, я не виновен.

Свидетели высказались в том же смысле, и обвиняемый был оправдан.

ИЗБАВИЛАСЬ

I

Молодая маркиза де Реннедон влетела, словно пуля, пронизавшая стекло, и, не успев еще заговорить, начала смеяться, смеяться до слез, точно-точно как месяц тому назад, когда объявила своей подруге, что изменила маркизу из мести, - только из мести, и только один раз, потому что он, право, чересчур уж глуп и ревнив.

Баронесса де Гранжери бросила на канаве книгу, которую читала, и с любопытством смотрела на Аннету, заранее смеясь.

Наконец она спросила:

- Ну, что еще набедокурила?

- О, дорогая... дорогая... Это так смешно... так смешно... Представь себе... я избавилась... избавилась... избавилась!

- Как избавилась?

- Так, избавилась.

- От чего?

- От мужа, дорогая, избавилась! Я освобождена! Я свободна! Свободна! Свободна!

- Как свободна? В каком отношении?

- В каком! Развод! Да, развод! Я могу получить развод!

- Ты развелась?

- Да нет еще, какая ты глупая! Ведь за три часа нельзя развестись. Но у меня есть доказательства... доказательства... доказательства, что он мне изменяет... его застали с поличным... подумай только... застали с поличным... он в моих руках...

- О, расскажи! Значит, он тебе изменял?

- Да... то есть, как сказать... и да и нет. Не знаю. Но у меня есть доказательства, а это самое главное.

- Как же тебе это удалось?

- Как удалось?.. А вот как! О, я повела дело ловко, очень ловко! За последние три месяца он сделался невыносим, совершенно невыносим, груб, дерзок, деспотичен, словом, отвратителен! Я решила: так больше продолжаться не может - нужно развестись. Но как? Это было не легко. Я пыталась устроить, чтобы он побил меня. Но на это он не шел. Он только ссорился со мной с утра до вечера, заставлял меня выезжать, когда я не

желала, и оставаться дома, когда мне хотелось обедать в гостях; он целыми неделями отравлял мне жизнь, но все-таки не бил меня.

Тогда я попыталась узнать, не завел ли он себе любовницу. И что же, - так оно и оказалось, но, отправляясь к ней, он принимал множество предосторожностей. Застичь их вместе было совершенно невозможно. Попробуй-ка догадаться, что я сделала?

- Не могу.

- О, никогда и не догадаешься! Я упросила брата достать мне фотографию этой женщины.

- Любовницы твоего мужа?

- Да. Жаку это обошлось в пятнадцать луидоров - стоимость вечера с семи часов до двенадцати, включая обед; в общем, по три луидора в час. А карточку он получил даром, в виде премии.

- По-моему, он мог бы добыть ее и дешевле, с помощью какой-нибудь уловки, и без... без... необходимости получить в придачу оригинал.

- О, она хорошенькая! Жаку это было отнюдь не противно. И, кроме того, мне нужно было узнать разные подробности о ее талии, груди, коже, ну, и о многом другом.

- Не понимаю.

- Сейчас поймешь. Узнав все, что мне было нужно, я отправилась к одному... как бы это сказать... к одному деловому человеку... Знаешь... к одному из тех, кто занимается понемножку всякими делами... какими угодно... К агенту... по... по разным... изобличениям... к одному из тех... из тех... Ну, сама понимаешь.

- Да, приблизительно. Что же ты ему сказала?

- Я показала ему карточку Клариссы (ее зовут Кларисса) и заявила: "Сударь, мне нужна горничная, похожая вот на эту особу. Я хочу, чтобы она была хорошенькая, элегантная, ловкая и опрятная. Я заплачу ей, сколько потребуется. Пусть это мне обойдется хоть в десять тысяч франков

- не беда. Понадобится она мне не больше чем на три месяца”.

Ну и удивился же этот человек! Он спросил:

- Вам нужна горничная безукоризненного поведения?

Я покраснела и пробормотала:

- Да, в смысле честности.

- А... в смысле нравственности? - продолжал он.

Я не посмела ответить. Я только покачала головой, в знак отрицания. Но вдруг сообразила, какое у него могло возникнуть подозрение, и, очертя голову, крикнула:

- Сударь... это для моего мужа... Он мне изменяет... изменяет где-то на стороне... а я хочу... я хочу, чтобы он изменял мне дома... Понимаете? Я хочу его поймать.

Человек расхохотался. И по его взгляду я поняла, что он проникся ко мне уважением. Он даже нашел, что я очень изобретательна. Держу пари, что в эту минуту ему хотелось пожать мне руку.

Он сказал:

- Через неделю, сударыня, я подберу то, что вам нужно. Если не подойдет одна, отыщем другую. За успех я ручаюсь. Вы заплатите мне только после благополучного окончания дела. Итак, это портрет любовницы вашего супруга?

- Да, сударь!

- Красивая особа и вовсе не такая худая, как кажется. А какие духи?

Я не поняла и переспросила:

- Что значит - какие духи?

Он улыбнулся:

- Духи, мадам, - весьма существенное обстоятельство в деле соблазна мужчины: запах рождает в нем бессознательные воспоминания, побуждающие его к действию; запах вызывает смутные сопоставления, томит и волнует, напоминая о привычных наслаждениях. Хорошо бы также узнать, какие блюда подаются к столу, когда ваш муж обедает с этой дамой. Вы можете заказать те же самые к ужину в тот вечер, когда решите захватить его. О мадам, он у нас в руках! Он у нас в руках!

Я ушла в полном восхищении. Действительно, мне посчастливилось напасть на очень смышленного человека.

II

Три дня спустя ко мне явилась высокая, смуглая и очень красивая девушка, скромного и в то же время вызывающего вида, - особа явно опытная. Со мной она держалась вполне прилично. Хорошенько не зная, кто она, я называла ее "мадмуазель", но она заявила: "Мадам, называйте меня просто Розой". Мы вступили в разговор:

- Итак, Роза, вам известно, для чего вас пригласили сюда?

- Вполне, мадам.

- Очень хорошо, милая... И это... вам не особенно неприятно?

- Мадам, я уж восьмой развод устраиваю; я привыкла.

- В таком случае - великолепно. А много вам для этого понадобится времени?

- Мадам, это всецело зависит от темперамента вашего супруга. Побыв с мосье минут пять наедине, я отвечу вам совершенно точно.

- Вы сейчас увидите его, милая. Но предупреждаю вас: он далеко не красив.

- Это для меня безразлично, мадам. Я разводила и совсем безобразных. Но позвольте спросить, узнали вы уже относительно духов?

- Да, милая Роза: вербена.

- Тем лучше, я очень люблю этот запах! Может быть, мадам, вы сообщите мне также, какое белье носит любовница мосье - шелковое?

- Нет, дитя мое, батистовое с кружевами.

- Так эта особа не лишена вкуса! Шелковым бельем теперь уже никого не удивишь.

- Вы совершенно правы.

- Итак, мадам, я приступаю к своим обязанностям.

Действительно, она немедленно приступила к своим обязанностям, как будто всю жизнь только этим и занималась.

Через час вернулся муж. Роза даже глаз на него не подняла, зато он прямо уставился на нее. Вербеной от нее уже так и разило. Минут через пять она вышла из комнаты.

Он тотчас же спросил меня:

- Что это за девушка?

- Это... моя новая горничная.

- Где вы ее нашли?

- Ее прислала ко мне баронесса де Гранжери с самыми лучшими рекомендациями.

- А! Она довольно хорошенькая.

- Вы находите?

- Да... для горничной, конечно.

Я была в восторге. Я чувствовала, что он клюнул.

В тот же вечер Роза сказала мне:

- Теперь могу вам обещать, мадам, что это больше двух недель не протянется. Мосье очень податлив.

- А, вы уже произвели опыт?

- Нет еще, мадам, но это видно с первого взгляда. Он уже не прочь обнять меня, проходя мимо.

- Он ничего вам не говорил?

- Нет, мадам, он только спросил, как мое имя... чтобы услышать мой голос.

- Отлично, милая Роза. Действуйте же как можно скорее.

- Не беспокойтесь, мадам. Я буду сопротивляться лишь столько, сколько нужно, чтобы не сбавить себе цену.

Через неделю муж уже почти перестал выходить из дому. Он целый день слонялся по комнатам; весьма показательно для его намерений было и то, что он больше не мешал мне выезжать. И я пропадала целыми днями... чтобы... чтобы предоставить ему свободу.

На девятый день Роза, раздевая меня, скромно сказала:

- Сегодня утром, мадам, все устроилось.

Я была немного удивлена, даже чуточку взволнована, не самым событием, а скорее тем, как она мне об этом сообщила. Я прошептала:

- И... и... все хорошо?

- О! Очень хорошо, мадам. Уже три дня, как мосье сделался крайне настойчивым, но я не хотела уступить слишком быстро. Соблаговолите, мадам, назначить время, когда вам угодно будет... установить... факт...

- Отлично, моя милая... Назначим хотя бы четверг.

- Пусть будет в четверг, мадам. А до тех пор, чтобы раззадорить мосье, я не позволю ему ничего.

- Вы уверены, что это удастся?

- О, да, мадам, вполне уверена. Я сумею так разжечь мосье, что все случится именно в тот самый час, который вы соблаговолите мне указать.

- Назначим, милая Роза, на пять часов.

- Пусть будет в пять, мадам. А где?

- Ну... В моей спальне.

- Хорошо. В вашей спальне, мадам.

Теперь ты понимаешь, дорогая, что я сделала? Прежде всего позвала папу и маму, потом моего дядюшку д'Орвлена, председателя суда, и, кроме того, господина Рапле, судью, друга моего мужа. Я не предупредила их о том, что собираюсь им показать. Я попросила всех подойти на цыпочках, потихоньку, к дверям моей спальни. Подождала до пяти, ровно до пяти... О, как билось у меня сердце! Я позвала и привратника, чтобы было одним свидетелем больше. И потом... потом... когда часы начали бить - трах! - я настежь распахнула дверь... Ха! ха! ха!.. Роман был в самом разгаре... в самом разгаре... дорогая. Какое у моего супруга было лицо!.. Какое лицо! Если бы ты только видела его лицо!.. А он еще повернулся к нам... болван!.. Ах, до чего же он был смешон... Я хохотала, хохотала... А папа так разъярился, что готов был броситься на него!.. Привратник же, верный слуга, помогал ему одеваться... при нас, при нас... Как он пристегивал подтяжки... вот была умора! Зато Роза оказалась на высоте! На высоте совершенства! Она расплакалась, превосходно расплакалась! Этой девушке цены нет... Если тебе когда-нибудь понадобится, имей ее в виду!

И вот я здесь... Я сейчас же прибежала рассказать тебе обо всем... сейчас же. Я свободна! Да здравствует развод!

И она завертелась посреди гостиной, а баронесса задумчиво и недовольно сказала:

- Почему же ты меня не пригласила посмотреть?

КЛОШЕТ

Удивительная вещь - воспоминания о давнем прошлом! Они неотступно преследуют нас, и мы не в силах от них избавиться.

Вот одно из них, такое далекое-далекое, что даже непонятно, как оно могло сохраниться в моей памяти со всей своей яркостью и силой. Я перевидал с тех пор столько мрачного, волнующего, ужасного, и все же, к моему удивлению, дня не проходит, ни одного дня, чтобы тетушка Клошет не возникала перед моим внутренним взором такой, какой я знал ее когда-то, в давние годы, когда мне было лет десять-двенадцать.

Это была старуха-швея, приходившая к нам по вторникам чинить белье. Мои родители жили в одном из тех сельских домов, которые пышности ради именуются “замком”, хотя на самом деле это - просто старинное здание с островерхой крышей и четырьмя-пятью прилегающими к нему фермами.

Метрах в ста с лишним от усадьбы деревня, большое село, целый городок лепился вокруг церкви из красного кирпича, потемневшего от времени.

Итак, тетушка Клошет являлась каждый вторник между шестью и половиной седьмого утра, прямо поднималась в бельевую и садилась за работу.

Это была женщина высокого роста, сухопарая, бородатая или, вернее, волосатая - борода, удивительная, неправдоподобная борода росла у нее по всему лицу диковинными кустиками, курчавыми клочьями, словно какой-то сумасшедший разбросал их по обширной физиономии этого солдата в юбке. Волосы росли у нее на носу, под носом, вокруг носа, на щеках, на подбородке, а брови, сказочно густые и длинные, совершенно седые, косматые и взъерошенные, очень были похожи на усы, попавшие сюда по ошибке.

Она прихрамывала, но не так, как обычно хромают калеки, - она ныряла,

словно судно на якоре. Когда она ступала на здоровую ногу, ее костлявая кособокая фигура вырастала будто с разбегу поднималась на гребень гигантской волны, а при следующем шаге она точно падала в пропасть, уходила в землю; походка ее вызывала представление о шторме - так сильно раскачивалась старушка на ходу; а ее голова, в неизменном огромном белом чепце, ленты которого развевались у нее за спиной, казалась парусом, пересекающим горизонт то с севера на юг, то с юга на север.

Я обожал тетушку Клошет. Едва проснувшись, я спешил в бельевую, где она уже сидела за шитьем, поставив ноги на грелку. Как только я прибежал, она меня усаживала на эту грелку, чтобы я не простудился в огромной холодной комнате под самой крышей.

- Это тебе кровь оттянет от горла, - уверяла она.

Она принималась рассказывать мне всевозможные истории, усердно штопая белье крючковатыми проворными пальцами; ее глаза за толстыми стеклами очков - от старости зрение у нее ослабело - казались мне огромными, странно глубокими, двойными.

Судя по ее рассказам, которые так трогали мою детскую душу, у нее было щедрое, великодушное сердце, как у многих обойденных судьбою женщин. Смотрела она на жизнь широко и просто. Она рассказывала мне о событиях в селе, о корове, убежавшей из хлева и в одно прекрасное утро оказавшейся перед мельницей Проспера Мале, - скотина глубокомысленно смотрела на вертевшиеся деревянные крылья; рассказывала о курином яйце, найденном на колокольне, причем так и осталось загадкой, как могла курица снести его там, и еще о собаке Жан-Жана Пиласа, которая помчалась за десять лье от деревни, чтобы принести обратно штаны своего хозяина, украденные прохожим, когда они сушились перед домом после дождя. Она так умела живописать все эти простые приключения, что они разрастались для меня в незабываемые драмы, в величественные и таинственные поэмы, и хитроумные вымыслы писателей, которыми по вечерам меня развлекала мать, были лишены той сочности, широты и мощи, какими дышали повествования крестьянки.

Как-то во вторник я все утро слушал рассказы тетушки Клошет, затем ходил с нашим слугой за орехами в рощу Алле, позади фермы Нуарпре, и,

вернувшись, решил еще раз сбегать наверх. Все происшедшее я помню так отчетливо, словно это случилось только вчера.

Я распахнул дверь бельевой и увидел, что старуха-швея лежит ничком подле стула, раскинув руки и все еще держа в одной иголку с ниткой, в другой - мою рубашку. Одна нога в синем чулке, наверно, здоровая, была вытянута под стулом; очки отлетели к стене и поблескивали там.

Я бросился вон, громко крича. Все сбежались, и через несколько минут я узнал, что тетушка Клошет умерла.

Нет слов передать глубокое, страшное, беспросветное отчаяние, охватившее мое детское сердце. Я еле-еле спустился по лестнице в гостиную, где в темном уголке стояло огромное старинное кресло, взобрался на него и, встав на колени, заплакал. Вероятно, я пробыл там долго, так как стало уже темнеть.

Вдруг в комнату вошли и внесли лампу, но меня не заметили, и я услышал разговор моих родителей с врачом, которого я узнал по голосу.

За ним послали сейчас же, и он объяснял, какие причины вызвали смерть швеи. Впрочем, я ничего не понял. Затем он уселся, согласившись выпить рюмку ликера с печеньем.

Он продолжал говорить, и то, что он рассказал, глубоко врезалось мне в душу и останется в ней до самой моей смерти. Мне кажется, я могу повторить его рассказ почти слово в слово.

- Ах, - говорил он, - бедняжка! Она ведь была здесь моей первой пациенткой! Она сломала себе ногу как раз в день моего приезда; я только что вылез из дилижанса и даже рук не успел вымыть, как за мной прибежали: перелом ноги, и опасный, очень опасный!

Ей было семнадцать лет, и она была очень, очень хороша, прямо красавица! Сейчас даже трудно поверить! Что же касается ее истории, то я никогда ничего не рассказывал, и никто ее не знает, кроме меня да еще одного человека, но он уже давно покинул наши места. Теперь, когда она умерла, я могу открыть ее тайну.

В ту пору сюда приехал помощником учителя некий молодой человек,

красивый, статный, с военной выправкой. Все девушки были от него без ума, а он корчил из себя неприступного, главным образом, верно, оттого, что сильно побаивался школьного учителя, дядюшки Грабю, который чаще всего вставал с левой ноги.

Дядюшка Грабю уже тогда приглашал к себе шить красавицу Гортензию, которая только что скончалась у вас, - ее впоследствии прозвали Клошет. {Слово “Clochette” значит “хромоножка”.} Помощник учителя обратил свое благосклонное внимание на прелестную девушку, а она, несомненно, была польщена тем, что такой непобедимый сердцеед избрал именно ее; словом, она любила его, и он добился первого свидания на школьном чердаке, по окончании ее работы, в сумерки.

Она сделала вид, будто отправляется домой, а сама, вместо того, чтобы спуститься по лестнице, поднялась на чердак и спряталась в сене, ожидая своего возлюбленного. Тот вскоре пришел, но только он принялся изливаться в своих чувствах, как вдруг дверь чердака отворилась, на пороге появился школьный учитель и спросил: “Что это вы тут делаете, Сижисбер?”

Видя, что он попался, молодой учитель, совершенно растерявшись, ответил наобум: “Я хотел немножко отдохнуть на сене, господин Грабю”.

Сеновал был очень большой, очень просторный и совершенно темный; Сижисбер, толкая вглубь испуганную девушку, шептал: “Туда, туда идите, спрячьтесь... Меня со службы прогонят! Спрячьтесь же!”

Школьный учитель, услышав перешептывание, продолжал: “Значит, вы здесь не один?” “Нет, один, господин Грабю!” “Нет, не один, вы с кем-то разговариваете!” “Честное слово, я один, господин Грабю”. “Вот сейчас узнаем”, - возразил старик; он запер дверь на ключ и пошел вниз за свечой.

Тогда молодой человек - трус, какие нередко встречаются, - потерял голову и, внезапно разъярившись, зашипел: “Ну, спрячьтесь же, чтобы вас не было тут! Я из-за вас на всю жизнь куска хлеба лишусь! Вы погубите мою карьеру... Да спрячьтесь же!”

А ключ уже скрипел в замке.

Тогда Гортензия подбежала к выходящему на улицу слуховому окну,

быстро распахнула его и сказала тихо и твердо: “Спуститесь и подберите меня, когда он уйдет”.

И она спрыгнула вниз.

Дядюшка Грабю никого не нашел и, чрезвычайно озадаченный, удалился.

Спустя четверть часа ко мне явился Сижисбер и все рассказал. Девушка так и лежала у стены, она не могла встать: ведь упала-то она с чердака! Я отправился вместе с ним.

Шел проливной дождь; я перенес к себе несчастную девушку; у нее на правой ноге было три перелома, осколки костей прорвали кожу. Она не жаловалась, а только с удивительным смирением повторяла: “И поделом, и поделом мне!”

Я вызвал людей на помощь, вызвал ее родителей, сочинил историю насчет экипажа, который якобы ехал мимо, лошади понесли, сбили ее с ног и искалечили перед моим домом.

Мне поверили, и жандармы целый месяц безуспешно разыскивали виновника несчастного случая.

Вот и все. И я утверждаю, что эта женщина - героиня, из породы тех, которые совершают высокие исторические подвиги.

Это была ее единственная любовь. Она скончалась девственницей. Это мученица, благороднейшее создание, жертва самоотверженной преданности. Я беспредельно восхищаюсь ею, иначе бы я не поделился с вами этим воспоминанием, о котором никогда при ее жизни не рассказывал - вы сами понимаете почему.

Врач умолк. Мама плакала. Отец произнес несколько слов, которых я не разобрал; затем все ушли.

Я все стоял на коленях в уголке кресла и всхлипывал, а до слуха моего доносился необычный звук тяжелых шагов по лестнице и какие-то глухие толчки.

Это выносили тело тетушки Клошет.

МАРКИЗ ДЕ ФЮМРОЛЬ

Роже де Турнвиль рассказывал в кругу друзей, сидя верхом на стуле; в руке он держал сигару и время от времени, поднося ее ко рту, выпускал маленькие облачка дыма.

...Мы еще сидели за столом, когда нам подали письмо. Папа вскрыл его. Вы, конечно, знаете моего папашу, который считает себя временно замещающим короля во Франции. Я же зову его Дон-Кихотом, потому что он целых двенадцать лет сражался с ветряной мельницей республики, сам хорошенько не зная, во имя Бурбонов или во имя Орлеанов. Ныне он готов преломить копье только за Орлеанов, потому что остались они одни. Во всяком случае, папа считает себя первым дворянином Франции, самым известным, самым влиятельным, главою партии, а так как он несменяемый сенатор, то престолы соседних королей кажутся ему недостаточно прочными.

Что касается мамы, то она - душа отца, душа монархии и религии, правая рука господина на земле, бич всех нечестивцев.

Так вот: подали письмо, когда мы еще сидели за столом. Папа вскрыл его, прочитал, потом взглянул на маму:

- Твой брат при смерти.

Мама побледнела. О дяде в нашем доме почти никогда не говорили. Я совсем не знал его. Я знал только, что, по общему мнению, он вел и продолжает вести беспорядочный образ жизни. Прокутив с бесчисленным количеством женщин свое состояние, он оставил при себе только двух любовниц, с которыми и жил в маленькой квартирке на улице Мучеников.

Бывший пэр Франции, отставной кавалерийский полковник, он, как

говорили, не верил ни в бога, ни в черта. Сомневаясь в бытии грядущем, он злоупотреблял на все лады бытием земным и в сердце моей матери уподобился кровоточащей ране.

Она сказала:

- Дайте мне письмо, Поль.

Когда письмо было прочитано ею, я тоже попросил его. Вот оно:

”Ваше сиятельство, считаю своим долгом сообщить вам, что ваш шури́н маркиз де Фюмроль умирает. Может, вам угодно как распорядиться, и не забудьте, что это я вас предупредила.

Ваша слуга Мелани”.

Папа прошептал:

- Надо что-то предпринять. Мое положение обязывает меня позаботиться о последних минутах вашего брата.

Мама отвечала:

- Я пошлю за аббатом Пуавроном и посоветуюсь с ним. Потом вместе с аббатом и Роже отправлюсь к брату. Вы, Поль, останьтесь дома. Вам не следует себя компрометировать. Женщина может и должна заниматься такими делами. Но для политического деятеля, и на вашем посту - это неудобно. Кто-нибудь из ваших врагов легко может обратить против вас самый похвальный ваш поступок.

- Вы правы, - согласился отец. - Поступайте, мой друг, как вам подскажет внутренний голос.

Через четверть часа аббат Пуаврон появился в гостиной; положение дел было изложено, взвешено и всесторонне обсуждено.

Если маркиз де Фюмроль, носитель одного из славнейших имен Франции, умрет без покаяния, это будет ужасный удар для дворянства вообще и для графа де Турнвиль в частности. Свободомыслящие будут торжествовать победу. Зловредные газетки полгода будут трубить о ней, имя моей матери окажется запятнанным, его станут упоминать в статейках социалистических листков; имя отца будет замарано. Невозможно допустить, чтобы все это случилось.

Таким образом, немедленно был решен крестовый поход под предводительством аббата Пуаврона, маленького, толстенького и благопристойного священника, слегка надушенного, настоящего викария большой церкви в аристократическом и богатом квартале.

Подали ландо, и вот мы втроем - мама, кюре и я - отбыли напутствовать дядю.

Было решено прежде всего переговорить с мадам Мелани, автором письма, - вероятно, привратницей или служанкой дяди.

В качестве разведчика я первый высадился из экипажа у подъезда семиэтажного дома и вошел в темный коридор, где едва разыскал мрачную каморку привратника. Этот человек подозрительно осмотрел меня с ног до головы.

Я спросил:

- Скажите, пожалуйста, где живет мадам Мелани?
- Не знаю!
- Я получил от нее письмо.
- Возможно. Но я не знаю. Она содержанка, что ли?
- Нет, по всей вероятности, горничная. Она просила у меня места.
- Горничная?.. Горничная?.. Может быть, это у маркиза? Поищите в шестом налево.

Узнав, что я разыскиваю не содержанку, он стал любезнее и даже вышел в коридор. То был высокий худой старик с седыми бакенбардами и размеренными жестами, похожий на церковного сторожа.

Я быстро взбежал по грязной витой лестнице, не рискуя прикасаться к перилам, и на шестом этаже тихо стукнул три раза в дверь налево.

Дверь тотчас же отворилась; передо мной стояла неопрятная женщина огромного роста; руками она упиралась в дверной косяк, загораживая вход.

Она пробурчала:

- Чего вам?

- Вы мадам Мелани?

- Она самая.

- Я виконт де Турнвиль.

- А, хорошо, войдите.

- Видите ли... моя мама внизу со священником.

- Хорошо! Ступайте за ними. Только берегитесь привратника.

Я сбежал вниз и снова поднялся с мамой, за которой следовал священник. Мне показалось, что за нами слышатся еще чьи-то шаги.

Когда мы очутились на кухне, Мелани предложила нам стулья. Мы все четверо уселись и приступили к совещанию.

- Ему очень плохо? - спросила мама.

- Да, сударыня, долго не протянет.

- Расположен он принять священника?

- Нет... не думаю!

- Могу я его видеть?

- Да... конечно... сударыня... но только... только... около него эти дамы.

- Какие дамы?

- Да... эти... ну, его приятельницы.

- А!

Мама густо покраснела.

Аббат Пуаврон опустил глаза.

Это начинало меня забавлять, и я сказал:

- Не войти ли сначала мне? Я посмотрю, как он меня примет; может быть, мне удастся подготовить его.

Мама, не поняв моей хитрости, ответила:

- Иди, дитя мое.

Но где-то открылась дверь, и женский голос крикнул:

- Мелани!

Толстая служанка устремила туда.

- Что угодно, мамзель Клэр?

- Омлет, да поскорее.

- Сию минуту, мамзель.

Вернувшись, она объяснила нам, зачем ее звали:

- К двум часам заказан омлет с сыром, на завтрак.

И тотчас яростно принялась взбивать яйца в салатнике.

Я же вышел на лестницу и дернул звонок, чтобы официально возвестить

о себе.

Мелани, открыв дверь, попросила меня присесть в прихожей и отправилась к дяде доложить, что я здесь, а потом пригласила меня войти.

Аббат спрятался за дверью, чтобы явиться по первому знаку.

Право, я был поражен, увидев дядю. Старый кутила был очень красив, очень величав, очень импозантен.

Он полулежал в огромном кресле; ноги его были закутаны одеялом, а руки, длинные и бледные, свисали с подлокотников; он ожидал смерти с библейским величием. Седая борода ниспадала ему на грудь, а волосы, тоже совершенно седые, сливались с нею на щеках.

За его креслом, как бы готовясь защищать его, стояли две молодые женщины, две толстухи, смотревшие на меня наглыми глазами уличных потаскушек. В нижних юбках и небрежно накинутых капотах, с обнаженными руками, с закрученными кое-как на затылке черными волосами, в стоптанных восточных туфлях, расшитых золотом и позволявших видеть их лодыжки и шелковые чулки, они казались возле этого умирающего непристойными фигурами какой-то аллегорической картины. Между креслом и постелью, на столике, накрытом скатертью, были приготовлены две тарелки, два стакана, две вилки и два ножа в ожидании омлета с сыром, только что заказанного Мелани.

Слабым голосом, задыхаясь, но отчетливо дядя произнес:

- Здравствуй, дитя мое. Поздновато ты пришел повидаться со мной. Наше знакомство долгим не будет.

Я пролепетал:

- Это не моя вина, дядя...

Он ответил:

- Да, я знаю. Это гораздо больше вина твоих родителей, чем твоя... Как они поживают?

- Благодарствуйте, неплохо. Узнав, что вы больны, они послали меня наведаться, как вы себя чувствуете.

- А! Почему же они не приехали сами?

Я поднял глаза на девиц и тихо сказал:

- Не их вина, дядя, что они не могут приехать. Отцу было бы трудно, а матери невозможно войти сюда.

Старик ничего не ответил и только протянул мне руку. Я взял эту бледную, холодную руку и удержал ее в своей. Дверь отворилась: Мелани принесла омлет и поставила его на стол. Женщины тотчас же уселись перед своими приборами и принялись за еду, не спуская с меня глаз.

- Дядя, - сказал я, - для матери было бы большой радостью обнять вас.

Он прошептал: “Я тоже... хотел бы...” И замолк. Я не знал, что еще сказать, и в комнате слышалось только постукивание вилок по фарфору и чавканье жующих ртов.

Тогда аббат, который подслушивал у двери, уловив заминку в нашем разговоре и считая дело уже выигранным, решил, что наступил подходящий момент, и вошел в комнату.

Дядя был настолько ошеломлен, что сначала и не пошевелился; затем он широко открыл рот, словно хотел проглотить священника, и закричал сильным, низким, яростным голосом:

- Что вам здесь нужно?

Аббат, привыкший к трудным положениям, подступал к нему все ближе и ближе, бормоча:

- Я пришел от имени вашей сестры, маркиз; это она послала меня к вам... Она была бы так счастлива, маркиз...

Но маркиз не слушал его. Подняв руку, он трагическим и величественным жестом указал на дверь и, задыхаясь, негодуя произнес:

- Убирайтесь вон!.. Убирайтесь вон... похитители душ... Убирайтесь вон, растлители совести... Убирайтесь вон, не смейте вламываться в двери умирающего!..

Аббат отступал, за ним отступал к дверям и я, забив отбой вместе с духовенством, а две отмщенные толстухи, бросив недоеденный омлет, поднялись и стали по обе стороны кресла, положив руки на плечи дяде, чтобы успокоить его и защитить против преступных умыслов Семьи и Религии.

Мы с аббатом вернулись на кухню к маме. Мелани снова предложила нам сесть.

- Я заранее знала, что так просто дело не выйдет, - сказала она. - Нужно придумать что-нибудь другое, иначе он ускользнет от нас.

И снова началось совещание. Мама предлагала одно, аббат - другое, я - третье.

Мы препирались шепотом с полчаса, как вдруг страшный шум опрокидываемой мебели и крики дяди, еще более дикие и ужасные, чем раньше, заставили всех нас вскочить.

Сквозь двери и перегородки доносилось:

- Вон... вон... грубияны... мерзавцы... вон, негодяи... вон... вон!..

Мелани бросилась в спальню дяди и тотчас вернулась, призывая меня на помощь. Я побежал туда. Дядя вопил, привстав от ярости с кресла, а прямо напротив него стояли один позади другого два человека, казалось, выжидавшие, когда он умрет от бешенства.

По длинному нелепому сюртуку, по узким английским ботинкам, по всей внешности, напоминавшей безработного учителя, по туго накрахмаленному воротничку, белому галстуку, прилизанным волосам, по смиренной физиономии лжесвященника ублюдочной религии я сразу узнал в первом из них протестантского пастора.

Второй же был привратник этого дома, по вероисповеданию лютеранин; выследив нас и убедившись в нашем поражении, он побежал за своим

священником, рассчитывая на большую удачу.

Дядя, казалось, обезумел от бешенства. Если вид католического аббата, священника его предков, вызвал у свободомыслящего маркиза де Фюмроля раздражение, то лицемерие представителя религии собственного швейцарца совершенно вывело его из себя.

Я схватил их за руки и вышвырнул вон с такой силой, что они дважды жестоко стукнулись друг о друга в дверях, выходявших на лестницу.

После этого я ретировался и вернулся в кухню, в наш главный штаб, посоветоваться с матерью и аббатом.

Но тут вбежала, рыдая, испуганная Мелани:

- Он умирает, он умирает... идите скорее... он умирает...

Мама вбежала в спальню. Дядя неподвижно лежал на полу, растянувшись во весь рост. Я был уверен, что он уже мертв!

Мама была великолепна в эту минуту! Она двинулась прямо на девиц, стоявших на коленях возле тела и пытавшихся его поднять. И властно, с достоинством, с непререкаемым величием показав им на дверь, она произнесла:

- Теперь извольте выйти отсюда!

И они вышли, не возражая, не сказав ни слова. Нужно прибавить, что я со своей стороны собирался выставить их не менее энергично, чем пастора и привратника.

Тогда аббат Пуаврон стал напутствовать дядю со всеми подобающими молитвами и отпустил ему грехи.

Мама рыдала, простершись возле брата.

Вдруг она воскликнула:

- Он узнал меня! Он пожал мне руку. Я уверена, что он узнал меня!.. И он поблагодарил меня!.. О боже, какое счастье!

Бедная мама! Если бы она поняла или догадалась, к кому и к чему должна была относиться эта благодарность!

Дядю положили на кровать. Теперь он был мертв бесспорно.

- Сударыня, - сказала Мелани, - у нас нет простынь, чтобы покрыть его. Все белье принадлежит этим дамам.

А я смотрел на омлет, который они так и не доели, и мне хотелось в одно и то же время и смеяться и плакать. Бывают иногда в жизни странные минуты и странные переживания.

Мы устроили дяде великолепные похороны, пять речей было произнесено на его могиле. Сенатор барон де Круассель в возвышенных выражениях доказал, что господь всегда остается победителем в душах людей высокого рода, временно заблуждавшихся. Все члены роялистской и католической партии с энтузиазмом победителей шествовали в погребальной процессии, беседуя о столь прекрасной смерти после немного бурной жизни.

Виконт Роже замолчал. Вокруг смеялись. Кто-то сказал:

- Да! Это история всех обращений *in extremis*. {В последние минуты жизни (лат.)}

ЗНАК

Молодая маркиза де Реннедон еще почивала в запертой на ключ, благоухающей спальне, на огромной, мягкой, низкой кровати, среди легкого батистового белья, тонкого, как кружево, ласкающего, как поцелуй; она спала одна, безмятежно, счастливым и глубоким сном разведенной жены.

Голоса, ясно доносившиеся из маленькой голубой гостиной, разбудили

ее. Она узнала свою близкую подругу, баронессу де Гранжери, которая хотела войти и спорила с горничной, не пускавшей ее в спальню.

Маркиза встала, отодвинула задвижку, повернула ключ и, подняв портьеру, высунула головку, одну только головку, окутанную облаком белокурых волос.

- Что случилось? - сказала она. - Почему ты пришла так рано? Еще нет и девяти.

Баронесса, чрезвычайно бледная и лихорадочно возбужденная, ответила:

- Мне нужно с тобой поговорить. Со мной случилось нечто ужасное.

- Входи же, дорогая.

Баронесса вошла, они расцеловались, и маркиза снова улеглась в постель, пока горничная открывала окна, впуская солнечный свет и воздух. Когда служанка вышла, г-жа де Реннедон промолвила:

- Ну, рассказывай.

Г-жа де Гранжери начала плакать, проливая те прелестные светлые слезинки, которые придают женщинам еще больше очарования, и пролепетала, не вытирая их, чтобы не покраснели глаза:

- О, дорогая, то, что со мной случилось, омерзительно, омерзительно! Я не спала всю ночь, ни одной минуты; понимаешь, ни минутки! Послушай только, как у меня бьется сердце.

И, взяв руку подруги, она положила ее себе на грудь, на округленную и плотную оболочку женского сердца, которой мужчины часто довольствуются, не стремясь проникнуть глубже. Сердце у нее действительно билось очень сильно.

Она продолжала:

- Это случилось со мной вчера днем... часа в четыре... или в половине пятого. Не помню точно. Тебе хорошо знакома моя квартира; ты знаешь, что маленькая гостиная во втором этаже, та, где я чаще всего бываю,

выходит на улицу Сен-Лазар. Ты знаешь также, что я страшно люблю сидеть у окна и смотреть на прохожих. Этот привокзальный квартал такой веселый, такой шумный, такой оживленный... Словом, я люблю все это! Ну, так вот вчера я сидела в низеньком кресле, которое велела поставить у окна; окно было открыто, и я не думала ни о чем, просто вдыхала прозрачный воздух. Помнишь, какой чудесный день был вчера!

Вдруг я замечаю, что на той стороне улицы, напротив меня, тоже сидит у окна женщина, женщина в красном платье; а я была в сиреневом, ты знаешь мое любимое сиреневое платье. Женщина была мне незнакома - какая-то новая жилища, поселившаяся там с месяц назад; так как целый месяц идет дождь, я еще ни разу ее не видела. Но я тут же заметила, что это девица дурного поведения. Сначала я была возмущена и шокирована тем, что она сидит у окна, так же, как я, но потом мало-помалу наблюдение за нею стало меня забавлять. Она сидела, облокотившись на подоконник, и высматривала мужчин, а мужчины тоже поглядывали на нее - все или почти все. Можно было подумать, что, подходя к дому, они уже каким-то образом были предупреждены или чуяли ее, как собака чует дичь: они внезапно подымали голову и обменивались с нею торопливым взглядом заговорщиков. Ее взгляд говорил: "Хотите?" Их взгляд отвечал: "Нет времени", или: "В другой раз", или еще: "Нет ни гроша", или: "Убирайся, дрянь этакая!" Последнюю фразу произносили глаза почтенных отцов семейств.

Ты не можешь себе представить, как было забавно смотреть на ее уловки или, вернее, на ее работу.

Иногда она внезапно закрывала окно, и я видела, как в подъезде исчезал какой-нибудь господин. Она вылавливала его, как рыбак ловит пескаря на удочку. Тогда я смотрела на часы. Они проводили вместе от двенадцати до двадцати минут - ни разу больше. Право, в конце концов она взволновала меня, эта паучиха. Притом она была недурна.

Я задавала себе вопрос: "Что она делает, чтобы ее понимали так легко, так быстро и вполне точно? Не подает ли она какого-нибудь знака головой или рукой в дополнение к взгляду?"

И я вооружилась театральным биноклем, чтобы разобраться в ее приемах! О, все было очень просто: сначала быстрый взгляд, потом

улыбка, затем чуть заметное движение головой, как бы вопрос: “Не зайдете ли?” Но движение такое легкое, такое неопределенное, такое сдержанное, что действительно нужно быть на высоте искусства, чтобы уметь это делать, как она.

Я подумала: “А у меня вышло бы так же хорошо это движение головой снизу вверх, вызывающее и в то же время милое?” Она действительно проделывала это очень мило.

Я подошла к зеркалу и попробовала. Знаешь, дорогая, у меня это выходило лучше, гораздо лучше! Я была в восторге и опять вернулась к окну.

Теперь она не завлекла больше никого, бедная девушка, совсем никого. Решительно ей не везло. Как все-таки должно быть ужасно таким способом зарабатывать себе на хлеб, - ужасно, хотя порой и занятно: ведь среди мужчин, которых видишь на улице, встречаются далеко не уроды.

Теперь они все проходили по моему тротуару, и ни одного не было на ее стороне. Солнце повернуло к закату. Они проходили одни за другими, молодые, старые, брюнеты, блондины, седеющие, совсем седые.

Были среди них очень привлекательные, право, очень привлекательные, дорогая, гораздо интереснее моего мужа, да и твоего, вернее, бывшего твоего мужа, ведь ты развелась. Теперь ты можешь выбирать!

Я подумала: “Сумею ли я, порядочная женщина, дать им знак, какой полагается?” И вот меня охватило безумное желание сделать этот знак, желание такое сильное, как каприз беременной... безудержное желание, - знаешь, одно из желаний... которым невозможно противиться! Со мной это бывает. Ну, не глупо ли это? Я думаю, что у нас, у женщин, души обезьян. Кстати, меня уверяли (один доктор говорил мне об этом), что мозг обезьяны очень походит на наш. Нам всегда необходимо кому-нибудь подражать. В первые месяцы брачной жизни мы подражаем нашим мужьям, если любим их, потом нашим любовникам, подругам, духовникам, если они нам нравятся. Мы заимствуем их манеру думать и говорить, их выражения, жесты - словом, все. Как это глупо!

В конце концов то, что мне очень хочется сделать, я всегда делаю!

И я решила: “Ну, хорошо, - попробую на одном, только на одном, просто так, чтобы посмотреть, как выйдет. Что может со мной случиться? Ничего! Мы обменяемся улыбками - и только, и я никогда больше его не увижу, а если и увижу, то он не узнает меня; если же узнает, я стану отречься - вот и все”.

Начинаю выбирать. Мне хотелось найти кого-нибудь получше. Вдруг вижу: идет высокий блондин, очень красивый молодой человек. Ты знаешь, я люблю блондинов.

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Я улыбаюсь; он улыбается; я делаю это движение - о! едва-едва заметное; кивком головы он отвечает “да”, и вот он уже входит, дорогая! Он входит в парадный подъезд нашего дома!

Ты не можешь себе представить, что со мной творилось в эту минуту! Право, я думала, что сойду с ума. О, какой ужас! Подумай только, - он сейчас заговорит с лакеем! А ведь Жозеф так предан моему мужу! Жозеф решит, что я давно знакома с этим господином.

Что было делать, скажи? Что делать? Сейчас, сию секунду он позвонит к нам! Что делать, скажи? Я решила, что лучше всего броситься ему навстречу, сказать, что он ошибся, умолять его уйти. Он сжалится над женщиной, над несчастной женщиной! Я помчалась к двери и открыла ее как раз в ту минуту, когда он прикасался к звонку.

Совершенно обезумев, я пролепетала:

- Уходите, сударь, уходите, вы ошиблись, я честная женщина, я замужем! Это ошибка, ужасная ошибка; я приняла вас за знакомого, на которого вы очень похожи. Сжальтесь надо мной, сударь!

Дорогая моя! В ответ он начинает смеяться и говорит:

- Отлично, кошечка. Знаешь, сказка мне эта давно знакома. Ты замужем, значит, два луидора вместо одного. Ты их получишь. Пойдем, показывай дорогу.

Он отстраняет меня, закрывает двери. Я стою перед ним, застыв от ужаса. Он целует меня, обнимает за талию и ведет в гостиную, - дверь туда

оставалась отворенной.

Затем он осматривается кругом, словно судебный пристав, и заявляет:

- Черт возьми, да у тебя очень мило, очень шикарно. Видно, в кармане у тебя совсем уж пусто, если ты промышляешь окошком.

Я снова начинаю его умолять:

- Сударь, уйдите! Уйдите! Сейчас вернется муж! Он вернется сию минуту, он всегда возвращается в это время! Клянусь вам, вы ошиблись!

А он мне спокойно отвечает:

- Ну, крошка, будет кривляться. Если муж вернется, я дам ему пять франков, чтобы он пошел выпить чего-нибудь напротив.

Потом он увидел на камине фотографию Рауля и спрашивает:

- Это и есть твой... твой муж?

- Да, это он.

- Гнусная рожа. А это кто такая? Подруга?

Это была твоя фотография, дорогая, знаешь - в бальном туалете. Я уж не знала, что говорю, и пробормотала:

- Да, подруга.

- Она прехорошенькая. Ты меня с ней познакомь.

И вот часы бьют пять, а Рауль каждый день возвращается в половине шестого! Подумай только - что было бы, если бы он вернулся раньше, чем ушел этот человек! И вот... и вот... я потеряла голову... совершенно потеряла... я решила... решила... что... что самое лучшее будет... будет избавиться от него... как можно скорее... Чем скорее все это кончится... понимаешь... и вот... вот... раз уж это было необходимо... а это было необходимо, дорогая... без этого он не ушел бы... я... я... я... я заперла дверь гостиной... и... Ну и все...

Маркиза де Реннедон хохотала, как безумная, хохотала, уткнувшись в подушку, сотрясая всю кровать.

Немного успокоившись, она спросила:

- А... он был красивый?

- Ну да.

- И ты жалуешься?

- Но... Но видишь ли, дорогая... он сказал... что вернется завтра... в то же время... и я... я ужасно боюсь... Ты не можешь себе представить, до чего он настойчив... и своеволен... Что мне делать... скажи... что делать?

Маркиза уселась в постели, чтобы поразмыслить; потом неожиданно объявила:

- Вели его арестовать.

Баронесса была озадачена. Она пролепетала:

- Как? Что ты говоришь? Что ты придумала? Арестовать его? Но под каким предлогом?

- Очень просто. Отправляйся к полицейскому комиссару и скажи ему, что какой-то господин преследует тебя уже три месяца, что вчера он имел наглость ворваться к тебе, что он угрожал тебе снова явиться завтра и что ты требуешь защиты закона. Тебе дадут двух полицейских, которые его арестуют.

- Но, дорогая, а если он расскажет?..

- Глупенькая, ему же не поверят, в особенности, если ты как следует разукрасишь свою историю в разговоре с комиссаром. Поверят тебе: ведь ты - дама из безупречного круга.

- О, я ни за что не решусь!

- Нужно решиться, дорогая, иначе ты погибла.
- Подумай только, ведь... ведь он может оскорбить меня... когда его арестуют.
- Пускай, но у тебя будут свидетели, и его приговорят...
- Приговорят? К чему?
- К денежному штрафу. В таком случае нужно быть безжалостной!
- Ах, да, кстати о деньгах... меня ужасно угнетает одно обстоятельство... ужасно. Он оставил... два луидора... на камине.
- Два луидора?
- Да.
- Только и всего?
- Только.
- Мало. Меня бы это унизило. Ну, так что же?
- Что же! Как мне быть с этими деньгами?

Маркиза раздумывала несколько секунд, потом ответила серьезным тоном:

- Дорогая... нужно... нужно... сделать маленький подарок твоему мужу... это будет только справедливо.

ДЬЯВОЛ

Крестьянин стоял перед доктором у постели умирающей. Старуха, затихшая, покорившаяся, ясным взором смотрела на мужчин и слушала их разговор. Она умирала и не противилась этому: ее время прошло, - ей было

девятью годами.

Июльское солнце вливалось в открытые окна и дверь; пламенные потоки его лучей падали на темный земляной пол, весь в буграх и впадинах, выбитых деревянными башмаками четырех крестьянских поколений. В дуновениях жаркого ветра сюда долетали запахи полей, запахи трав, хлеба, листвы, палимых полуденным зноем. Звонко трещали кузнечики, и все вокруг было полно их отчетливого стрекотания, напоминавшего звук деревянных трещоток, которые продают на ярмарках ребятишкам.

Доктор, повысив голос, сказал:

- Оноре, нельзя оставлять вашу матушку одну, когда она в таком состоянии. С минуты на минуту она может умереть.

Но огорченный крестьянин твердил свое:

- А пшеницу-то нужно мне свезти? Уж больно она долго лежит в поле. Да и погода подходящая. Как по-твоему, матушка?

Умиравшая, все еще во власти нормандской скупости, взглядом и выражением лица ответила "да", - пусть сын возит пшеницу и оставит ее умирать в одиночестве.

Но доктор рассердился и топнул ногой:

- Знаете, вы просто скотина! Я не позволю вам делать это! И если уж необходимо свезти пшеницу именно сегодня, так пойдите, черт побери, за теткой Рапе, пусть она побудет с вашей матерью! Я, знаете, требую этого! А не послушаетесь, так я вас, знаете, оставлю подыхать, как собаку, когда вы сами заболаете!

Крестьянин, тощий верзила, медлительный в движениях, мучимый нерешительностью, животной страстью к скопидомству и боязнью перед доктором, колебался, высчитывал и наконец пробормотал:

- Сколько же берет тетка Рапе, чтобы присмотреть?

- А я почему знаю? - закричал доктор. - Смотри на какое время вы ее позовете. Сговоритесь с ней, черт возьми! Но я, знаете, требую, чтобы она

была здесь через час!

Крестьянин решился.

- Иду, иду; зря гневаетесь, господин доктор.

И врач ушел, прибавив:

- То-то, берегитесь; не до шуток будет, когда я рассержусь!

Когда он вышел, крестьянин повернулся к матери и покорно сказал:

- Пойду за теткой Рапе, раз уж он требует. Потерпи, покуда вернусь.

И тоже ушел.

Тетка Рапе, старуха-гладильщица, нанималась, кроме того, дежурить при покойниках и умирающих как в своей деревне, так и во всей округе. Но, зашив этих своих заказчиков в саван, из которого им уже не суждено было выбраться, она опять хваталась за утюг, чтобы гладить белье для живых. Сморщенная, как прошлогоднее яблоко, злая, привередливая, на редкость жадная и до того сгорбленная, что, казалось, от постоянного глажения полотна ее крестец переломился, она, как говорили, питала особенную, чудовищную и мерзкую страсть к зрелищу предсмертной агонии. Она вечно толковала о людях, умерших на ее глазах, о всевозможных случаях смерти, при которых ей приходилось присутствовать, и, рассказывая, старалась изложить дело во всех подробностях, всегда одних и тех же, - точь-в-точь как охотник, рассказывающий о своих охотничьих приключениях.

Войдя к ней, Оноре Бонтан застал ее за разведением синьки для воротничков крестьянок.

- Добрый вечер, тетушка Рапе, - сказал он. - Ну, как дела?

Она обернулась к нему.

- Помаленьку, помаленьку. А у вас как?

- У меня-то все в порядке, только вот с матушкой плохо.

- С матушкой?

- Да.

- Что же с ней такое?

- Пришло время помирать.

Старуха вынула руки из воды; синеватые прозрачные капли стекали по ее пальцам, падая в корыто. С внезапным участием она спросила:

- Совсем плохо ей?

- Доктор говорит, что и дня не протянет.

- Ну, значит, плохо.

Оноре был в затруднении. Следовало повести разговор издалека, прежде чем приступить к делу, с которым он пришел. Но он ничего не мог придумать и сразу спросил:

- Сколько вы возьмете с меня, чтобы присмотреть за ней до конца? Мы ведь небогатые, сами знаете. И работницу не на что нанять. Оттого моя матушка и свалилась, что работала всю и уж очень уставала! За десятерых работала, хоть ей и девяносто два года. Старики работать умели!..

Тетка Рапе степенно ответила:

- У меня две цены: сорок су за день и три франка за ночь - это для богатых. Ну, а для прочих - двадцать су за день и сорок за ночь. С вас возьму двадцать и сорок.

Но крестьянин раздумывал. Он хорошо знал свою мать. Знал, какая она живучая, выносливая, крепкая. Она могла протянуть еще целую неделю, что бы там ни толковал доктор.

И он нерешительно сказал:

- Нет, уж лучше бы вы взяли с меня цену сразу за все, до самого конца. Так, чтобы с обеих сторон риск был. Доктор говорит, что она скоро уберется. Если так, вам будет выгода, а мне убыток. Ну, а если она протянет до завтра или еще дольше, - моя выгода, а убыток для вас.

Сиделка с удивлением смотрела на него. Никогда еще ей не предлагали таких условий - сдельную плату. Она колебалась, прельщенная возможностью оказаться в барыше. Но потом заподозрила, что ее хотят надуть.

- Ничего не могу сказать, пока сама не увижу вашу матушку, - ответила она.

- Так пойдемте посмотрим.

Она вытерла руки и тотчас же отправилась с ним.

По дороге они не разговаривали. Она торопливо семенила, а он делал огромные шаги, словно каждую минуту собирался переступить через ручей.

Истомленные зноем коровы, лежавшие в поле, тяжело поднимали головы в сторону проходивших людей и слабо мычали, как бы выпрашивая свежей травы.

Подходя к дому, Оноре Бонтан пробормотал:

- А что, если все уже кончилось?

И бессознательное желание этого проявилось в самом звуке его голоса.

Но старуха и не собиралась умирать. Она по-прежнему лежала на спине, на своей убогой кровати, под лиловым ситцевым одеялом, сложив поверх него руки, - ужасающе худые, узловатые руки, походившие на странных животных, на каких-то крабов, скрюченные ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, которую они выполняли.

Тетка Рапе подошла к кровати и принялась разглядывать умирающую. Она пощупала ей пульс, потрогала грудь, прислушалась к дыханию, задала ей вопрос, чтобы услышать ее голос, и долго еще присматривалась к ней,

после чего вышла вместе с Оноре. Дело казалось ей ясным: старуха не переживет и ночи. Оноре спросил:

- Ну, что?

Сиделка ответила:

- А то, что она протянет еще дня два, а может, и три. Давайте мне шесть франков за все.

- Шесть франков! Шесть франков! - закричал он. - Да вы свихнулись? Говорю вам, что ей жить пять-шесть часов, не больше!

Они долго, с остервенением спорили. И так как сиделка хотела уйти, а время шло, а пшеница сама не могла сняться с места, то в конце концов он согласился.

- Ну, ладно, идет - шесть франков за все до выноса тела.

- Ладно, шесть франков.

И он, широко шагая, отправился к своей сжатой пшенице, лежавшей на земле под палящими лучами солнца.

Сиделка вошла в дом. Она принесла с собой работу, потому что возле умирающих и покойников все равно работала, не переставая, то для самой себя, то для нанявшей ее семьи, которая платила ей за это особо.

Вдруг она спросила:

- Вас хоть напутствовали, матушка Бонтан?

Крестьянка отрицательно мотнула головой, и святоша Рапе живо вскочила с места.

- Господи боже, да разве это возможно! Я позову господина кюре.

И она побежала к дому священника с такой быстротой, что мальчишки на площади, увидев, как она мчится, решили, что случилось какое-нибудь несчастье.

Священник облачился в стихарь и отправился в путь, предшествуемый мальчиком, который звонил в колокольчик, возвещая о шествии божества по спокойной и знойной равнине. Мужчины, работавшие вдали от дороги, снимали свои большие шляпы и стояли неподвижно, ожидая, пока белое одеяние исчезнет за какой-нибудь фермой; женщины, вязавшие снопы, выпрямлялись, чтобы перекреститься; черные куры в смятении бежали, переваливаясь, вдоль канав до какой-нибудь хорошо им знакомой дыры в изгороди, куда они внезапно исчезали; жеребенок, привязанный на лугу, испугался при виде стихаря и стал кружить на веревке и брыкаться. Мальчик-служка в красном облачении шел быстрым шагом; священник в четырехугольной шапочке следовал за ним, склонив голову и шепча молитвы, а тетка Рапе тащилась позади, перегнувшись в три погибели, словно припадая к земле, и сложив руки, как в церкви.

Оноре видел издали, как они проходили.

- Куда это идет наш кюре? - спросил он.

Его работник, более сообразительный, ответил:

- Побожусь, что он - с причастием к твоей матери!

Крестьянин не удивился.

- Пожалуй, что и так.

И снова принялся за работу.

Старуха Бонтан исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и священник отправился обратно, оставив женщин вдвоем в душной хижине.

Тогда тетка Рапе принялась разглядывать умирающую, соображая, долго ли протянется дело.

Наступал вечер; резкие дуновения посвежевшего воздуха шевелили на стене лубочную картинку, прикрепленную двумя булавками; небольшие занавески на окне, когда-то белые, а теперь пожелтевшие и засиженные

мухами, точно хотели улететь, сорваться, исчезнуть вместе с душой старухи.

Она лежала неподвижно, открыв глаза, и, казалось, равнодушно ожидала смерти, такой близкой, но медлившей с приходом. Короткое дыхание вырывалось с легким свистом из ее сдавленной груди. Скоро это дыхание остановится совсем, и на земле станет одной женщиной меньше, и никто о ней не будет жалеть.

Когда стемнело, вернулся Оноре. Подойдя к постели, он увидел, что мать еще жива, испросил: “Ну, что?” - как обычно спрашивал раньше, когда ей нездоровилось.

Потом он отпустил тетку Рапе, напомнив ей:

- Так завтра в пять, не опаздывайте.

Она подтвердила:

- Завтра в пять.

И действительно, она пришла на рассвете.

Перед уходом в поле Оноре ел суп, приготовленный им самим.

Сиделка спросила:

- Ну, как, отошла?

Он ответил с лукавой усмешкой в глазах:

- Пожалуй, ей даже полегчало.

И ушел.

Тетка Рапе забеспокоилась и подошла к умирающей: та была в прежнем положении. Она лежала бесстрастно, с открытыми глазами, тяжело дыша, сложив на одеяле сведенные руки.

Сиделка поняла, что так может протянуться и два дня, и четыре, и целую неделю; сердце этой скряги сжалось от ужаса, и в ней закипела яростная

злора против хитреца, который ее надул, и против старухи, которая не умирает.

Но она все-таки принялась за работу и стала ждать, устремив пристальный взгляд на сморщенное лицо матушки Бонтан.

Оноре вернулся позавтракать и казался довольным, почти веселым, потом ушел снова. С перевозкой пшеницы дело шло как нельзя лучше!

Тетка Рапе выходила из себя; каждая лишняя минута казалась ей теперь украденным у нее временем, украденными деньгами. Ее обуяло желание, сумасшедшее желание схватить эту старую клячу, эту старую ослицу, эту старую упрямую тварь за горло, слегка сжать его и остановить короткое быстрое дыхание, из-за которого она теряет время и деньги.

Но она подумала, что это опасно, и в голове у нее возник новый замысел.

- А что, вы уже видели дьявола? - спросила она, подойдя к кровати.

Старуха Бонтан прошептала:

- Нет.

Тогда сиделка пустилась болтать и рассказывать всякие небылицы, чтобы напугать умирающую, сознание которой ослабевало.

Дьявол появляется, по ее словам, всем умирающим за несколько минут до смерти. В руке у него метла, на голове котел, и он издает ужасные крики. Если вы его увидели, значит, дело кончено, жить осталось какой-нибудь миг. И она перечислила всех, кому дьявол являлся при ней в этом году, - Жозефену Луазель, Эвлали Ратье, Софи Паданьо, Серафиме Гропье.

Старуха Бонтан наконец забеспокоилась, зашевелилась, задвигала руками, стараясь так повернуть голову, чтобы видеть всю комнату.

Внезапно тетка Рапе исчезла в ногах кровати. Она достала из шкафа простыню и завернулась в нее; на голову надела котелок с тремя короткими согнутыми ножками, которые торчали, как рога; правой рукой

схватила метлу, а левой - жестяное ведро и вдруг подбросила его вверх, чтобы оно, упав, загремело.

Ведро с грохотом ударилось об пол. Тогда сиделка вскочила на стул, приподняла занавеску, висевшую в ногах кровати, и, размахивая руками, грозя метлой, издавая пронзительные крики из-под котелка, закрывавшего ей лицо, предстала чуть живой старухе, словно черт из балагана.

Умирающая, с обезумевшим взглядом, вне себя, сделала сверхчеловеческое усилие, чтобы подняться и бежать; ее плечи и спина уже отделились от постели; но затем она снова упала, глубоко вздохнув. Это был конец.

И тетка Рапе спокойно водворила все по своим местам: метлу в угол возле шкафа, простыню в шкаф, котелок на очаг, ведро на полку, стул к стене. Потом профессиональным жестом закрыла выкатившиеся глаза умершей, поставила на постель тарелку, налила в нее святую воду, окунула туда веточку букса, висевшую над комодом, и, став на колени, с жаром принялась читать заупокойные молитвы, которые она благодаря своему ремеслу знала наизусть.

Когда Оноре вечером вернулся домой, он застал ее за молитвой и тотчас подсчитал, что она обставила его на двадцать су: ведь она провела здесь всего три дня и одну ночь, за что полагалось пять франков, а вовсе не шесть, которые он должен был ей уплатить.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

- Еще бы мне не помнить этого ужина в крещенский сочельник во время войны! - воскликнул капитан граф де Гаран.

Я был тогда вахмистром в гусарском полку и уже недели две бродил разведчиком вокруг немецких передовых постов. Накануне мы зарубили несколько уланов и сами потеряли трех человек, в том числе беднягу Родвиля. Вы его хорошо помните - Жозефа де Родвиля.

А в самый сочельник капитан приказал мне взять с собой десять кавалеристов и с ними занять и удерживать всю ночь деревню Портрен, где за последние три недели произошло пять стычек. В этом осином гнезде не осталось неповрежденными и двадцати домов, в нем не нашлось бы и дюжины жителей.

И вот, взяв с собой десять гусар, я отправился в путь около четырех часов. К пяти мы добрались в кромешной тьме до первых домов Портрена. Я велел остановиться и приказал Марша - вы хорошо знаете Пьера де Марша, который потом женился на мадмуазель Мартель-Овлен, дочери маркиза де Мартель-Овлен, - пробраться одному в деревню и привезти мне донесение.

Я взял с собой только волонтеров, и все они были из хороших семей. На службе, знаете, приятно не иметь дела с мужланами. Этот Марша был ловкач, каких мало, хитрый, как лисица, и гибкий, как змея. Он нюхом чувал пруссаков, как собака чует зайца, находил продовольствие там, где мы без него умерли бы с голоду, и с непостижимым искусством добывал сведения у всех и каждого, и притом верные сведения.

Он вернулся минут через десять.

- Все в порядке, - сказал он. - Уже три дня здесь не было ни одного пруссака. Ну и мрачна же эта деревушка! Я разговаривал с монахиней, которая ухаживает за четырьмя или пятью больными в покинутом монастыре.

Я приказал двигаться дальше, и мы очутились на главной улице. Справа и слева смутно виднелись стены без крыш, едва заметные в глубокой тьме. Там и сям в окне поблескивал огонек: какая-нибудь семья осталась на месте, чтобы караулить свое полуразрушенное жилье, семья храбрецов или бедняков. Заморосил дождь, мелкий, холодный, и, не успев еще промокнуть, мы уже замерзли от одного его прикосновения к нашим плащам. Лошади спотыкались о камни, о балки, о мебель. Марша спешил и вел нас, держа свою лошадь в поводу.

- Куда ты нас ведешь? - спросил я его.

Он отвечал:

- Я нашел жилье, и притом отличное!

Вскоре он остановился у небольшого буржуазного дома, сохранившегося в целости и наглухо запертого; дом выходил на улицу, позади него был сад.

Крупным булыжником, подобранным возле забора, Марша сбил замок, взбежал на крыльцо, плечом и коленом высадил дверь, зажег огарок, который всегда носил в кармане, и провел нас в благоустроенное, уютное жилище местного богача, показывая дорогу с уверенностью, совершенно изумительной, словно он уже раньше жил в этом доме, хотя видел его впервые.

Двух человек мы оставили на дворе сторожить лошадей.

Толстяку Пондрелю, шедшему за ним, Марша сказал:

- Конюшни должны быть налево; я заметил их, когда входил; поставь туда лошадей, они нам не понадобятся.

Потом повернулся ко мне:

- Ну, распоряжайся, черт побери!

Он всегда поражал меня, этот весельчак. Смеясь, я ответил:

- Я расставлю часовых на всех окраинах. Потом вернусь сюда.

Он спросил:

- А сколько человек ты берешь?

- Пятерых. В десять вечера их сменят другие.

- Отлично. Четверо, которых ты мне оставляешь, раздобудут провизию, займутся стряпней и накроют на стол. А я разыщу, где спрятано вино.

И вот я отправился обследовать пустынные улицы до самого выхода в поле, чтобы расставить часовых.

Через полчаса я вернулся. Марша сидел, развалившись в большом вольтеровском кресле, с которого он снял чехол, - из любви к роскоши, как

он выразился. Он грел ноги у камина, покуривая отличную сигару, аромат которой наполнял комнату. Он сидел один, опершись локтями о ручки кресла, втянув голову в плечи; глаза его сверкали, лицо раздурмянилось и выражало полное довольство.

Из соседней комнаты доносился стук посуды. Блаженно улыбаясь, Марша сказал:

- Дело идет на лад; в курятнике я отыскал бордо, под ступеньками крыльца - шампанское, а водку - пятьдесят бутылок самой лучшей - в огороде под грушевым деревом; оно при свете фонаря показалось мне что-то подозрительным. Из существенного у нас - две курицы, гусь, утка, три голубя и дрозд, которого мы нашли в клетке - только птица, как видишь. Сейчас все это готовят. Премилое местечко!

Я уселся против него. Огонь камина обжигал мне нос и щеки.

- Где ты достал дрова? - спросил я.

Он ответил:

- Дрова отличные - барский экипаж, карета. Это краска дает такое яркое пламя, прямо-таки пунш из масла и лака. Благоустроенный дом!

Я хохотал: очень уж забавен был этот плут!

- И подумать только, что сегодня крещенский сочельник! - продолжал он. - Я положил боб в гуся, но нет королевы, - вот досада!

- Досада, - как эхо, повторил я, - но что же я тут могу поделать?

- Отыскать их, черт возьми!

- Кого?

- Женщин.

- Женщин? Ты спятил!

- Нашел же я водку под грушей и шампанское под крыльцом, а ведь у

меня не было никаких указаний. У тебя же имеется точная примета - юбка. Поищи, дружок!

У него было такое важное, серьезное и убежденное выражение лица, что я уже не понимал, шутит он или нет.

Я ответил:

- Признайся, Марша, ты дуришь!

- Я никогда не дурю на службе.

- Но у какого же черта, по-твоему, я найду женщин?

- У какого тебе вздумается. Здесь, наверно, остались две-три женщины. Разыщи их и доставь.

Я поднялся. У огня становилось слишком жарко. Марша спросил снова:

- Хочешь, я подам тебе мысль?

- Да.

- Пойди к кюре.

- К кюре? Зачем?

- Пригласи его ужинать и попроси привести с собой какую-нибудь женщину.

- Кюре! Женщину! Ха-ха-ха!

Марша возразил с небывалой серьезностью:

- Я не шучу. Ступай к кюре, расскажи ему, в каком мы положении. Он, верно, сам умирает от скуки и охотно придет к нам. И скажи ему, что нам нужна, по крайней мере, одна женщина, но, разумеется, порядочная, так как все мы - светские люди. Он должен знать всех прихожанок, как свои пять пальцев. Если здесь есть подходящая для нас и если ты возьмешься за дело как следует, он тебе ее укажет.

- Послушай, Марша, что ты болтаешь?

- Мой дорогой Гаран, все это ты можешь отлично устроить. Это будет даже забавно. Мы умеем себя держать, черт возьми, и блеснем прекрасными манерами, проявим наивысший шик. Отрекомендуй нас аббату, рассмеши его, растрогай, плени и уговори!

- Нет, это невозможно!

Пододвинувшись ко мне, этот проказник, изучивший мои слабые струнки, продолжал:

- Подумай только, какой фокус устроить все это и как забавно будет об этом рассказывать! По всей армии пойдут толки. Это создаст тебе репутацию молодца.

Я колебался, авантюра соблазняла меня. Он продолжал:

- Решено, милейший. Ты начальник отряда, ты один можешь представиться главе местной церкви. Прошу тебя, отправляйся. После войны я воспую стихами эту историю в Обозрении Двух Миров, обещаю тебе. Ты должен сделать это ради твоих людей. Достаточно они потаскались с тобой за последний месяц.

Я поднялся и спросил:

- Где живет священник?

- Вторая улица налево. В конце ее ты увидишь проезд, а в конце проезда церковь. Возле нее дом священника

Когда я выходил, он крикнул мне вслед:

- Опиши меню, чтобы возбудить у него аппетит!

Я без труда разыскал домик священника возле большой неказистой кирпичной церкви. Когда я забарабанил кулаком в дверь, у которой не было ни молотка, ни колокольчика, громкий голос спросил изнутри:

- Кто там?

Я отвечал:

- Гусарский вахмистр.

Послышался стук засова, повернули ключ, и передо мной появился рослый пузатый священник, с грудью борца, с огромными ручищами, вылезавшими из засученных рукавов, краснощекий и явно благодушный человек.

Я отдал ему честь.

- Здравствуйте, господин кюре.

Он опасался грабителей и потому, увидев меня, ответил, улыбаясь:

- Здравствуйте, мой друг, войдите.

Я прошел за ним в маленькую комнату, где пол был из красных плиток и где в камине тлел слабый огонь, совсем не похожий на костер Марша.

Предложив мне сесть, он спросил:

- Чем могу служить?

- Разрешите мне сначала представиться, господин аббат.

И я подал ему свою визитную карточку.

Он взял и прочел вполголоса:

- Граф де Гаран.

Я заговорил снова.

- Нас здесь одиннадцать человек, господин аббат: пятеро в карауле, а шестеро на постое у неизвестного нам жителя. Шестерых этих зовут: Гаран, находящийся перед вами, Пьер де Марша, Людовик де Пондрель, барон д'Этрейи, Карл Масулиньи, сын художника, и Жозеф Эрбон, молодой музыкант. Я пришел просить вас от имени моих друзей и от себя

оказать нам честь отужинать с нами. Сегодня крещенский сочельник, господин аббат, нам хотелось бы провести его повеселее.

Священник улыбнулся.

- Мне кажется, не такое сейчас время, чтобы веселиться, - заметил он.

Я отвечал:

- Мы все время сражаемся, сударь. За последний месяц погибло четырнадцать наших товарищей, а трое пали не далее как вчера. Что поделаешь, - война. Мы каждую минуту рискуем жизнью, так почему бы нам не рисковать ею весело? Мы французы, мы любим посмеяться и умеем смеяться всюду. Наши отцы смеялись и на эшафоте! Сегодня вечером мы хотели бы немного развлечься, как светские люди, а не как солдафоны, - вы понимаете меня? Разве это грех?

Он отвечал с живостью:

- Вы правы, мой друг, и я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение.

И крикнул:

- Арманс!

Вошла старая крестьянка, скрюченная, сморщенная, страшная; она спросила:

- Что угодно?

- Сегодня я не обедаю дома, дочь моя.

- Ну, а где же вы обедаете?

- С господами гусарами.

Мне хотелось сказать: “Приходите вместе с вашей служанкой”, - чтобы посмотреть, какую рожу скорчит Марша, но я не решился.

Я продолжал:

- Не знаете ли вы среди ваших прихожан, оставшихся в поселке, еще кого-нибудь, мужчину или женщину, кого бы я мог также пригласить?

Он задумался, стараясь припомнить, и объявил:

- Нет, никого не осталось!

Я настаивал:

- Никого?.. Ну, господин кюре, припомните. Было бы очень мило пригласить дам. Само собой разумеется, с мужьями. Кого? Ну, почему я знаю! Булочника с женой, лавочника... часовщика... сапожника... аптекаря с аптекаршей... у нас отличный ужин, вино, и мы были бы счастливы оставить по себе у местных жителей приятное воспоминание

Священник снова погрузился в долгое размышление, потом решительно заявил:

- Нет, никого не осталось!

Я рассмеялся:

- Черт возьми! Господин кюре, какая досада не иметь королевы - ведь у нас сегодня крещенский боб! Подумайте, припомните! Разве здесь нет женатого мэра, женатого помощника мэра, женатого муниципального советника, женатого учителя?..

- Нет, все дамы уехали.

- Как, нет ни одной приличной дамы с приличным супругом, которым мы могли бы доставить такое удовольствие? Ведь для них, в нынешних обстоятельствах, это было бы действительно большим удовольствием!

Вдруг священник расхохотался; он трясся всем телом в припадке неистового смеха и выкрикивал:

- Ха-ха-ха! Я устрою вам это дельце! Иисус Мария, устрою! Ха-ха-ха! Мы посмеемся, дети мои, хорошо посмеемся. И дамы будут очень довольны, я уверен, очень довольны. Ха-ха-ха!.. Где вы расположились?

Я объяснил, описав ему дом. Он понял:

- Отлично! Это дом господина Бертен-Лавай. Через полчаса я буду у вас с четырьмя дамами! Ха-ха-ха! С четырьмя дамами!!!

Не переставая хохотать, он вышел со мной и тут же покинул меня, повторяя:

- Так через полчаса, дом Бертен-Лавай.

Я поспешил домой, весьма озадаченный и заинтригованный.

- Сколько приборов? - спросил Марша, увидев меня.

- Одиннадцать. Нас шестеро, господин кюре и четыре дамы.

Он был поражен. Я торжествовал.

Он повторял:

- Четыре дамы! Ты говоришь: четыре дамы?

- Да, четыре дамы.

- Настоящие женщины?

- Настоящие.

- Черт возьми! Прими мои поздравления.

- Принимаю. Я их заслужил.

Он вскочил с кресла, отворил дверь, и я увидел превосходную белую скатерть, покрывавшую длинный стол, на котором трое гусар в синих фартуках расставляли тарелки и стаканы.

- Будут женщины! - крикнул Марша.

И трое мужчин пустились в пляс, аплодируя изо всех сил. Все было готово. Мы стали ждать. Прождали около часа. Упоительный аромат жареной птицы разносился по всему дому.

Удар в ставню заставил нас сразу вскочить. Толстяк Пондрель побежал открывать, и минуту спустя в дверях появилась старушка-монашенка. Худая, морщинистая, робкая, она поочередно раскланялась с четырьмя гусарами, изумленно смотревшими на нее. За ее спиной слышался стук палок по каменному полу прихожей, и как только она вошла в гостиную, я увидел, одну за другой, три старушечьих головы в белых чепцах; они появились, покачиваясь в разные стороны, кто налево, а кто направо. И перед нами, ковыляя, волоча ноги, предстали три богаделки, изувеченные болезнями, изуродованные старостью, три немощные калеки, единственные три пансионерки, еще способные выйти из богоугодного заведения, которым заведовала монахиня-бенедиктинка.

Она обернулась к своим подопечным, окинула их заботливым взглядом, затем, увидев мои вахмистерские нашивки, сказала мне:

- Я очень вам благодарна, господин офицер, за то, что вы подумали об этих бедных женщинах. У них мало радости в жизни, и ваше приглашение на ужин - для них и большое счастье и большая честь.

Я увидел кюре, - он стоял в темной прихожей и хохотал от всего сердца. Тогда и я засмеялся, особенно после того, как увидел физиономию Марша. Потом, указав монахине на стулья, я сказал:

- Садитесь, сестра, мы горды и счастливы тем, что вы приняли наше скромное приглашение.

Она взяла три стула, стоявшие у стены, выстроила их в ряд перед камином, подвела своих богаделок, усадила их, отобрала у них палки, шали и сложила их в углу; затем, представляя нам первую, худую старуху с огромным животом, по всей вероятности, страдавшую водянкой, сказала:

- Это тетушка Помель; ее муж расшибся насмерть, свалившись с крыши, а сын умер в Африке. Ей семьдесят два года.

Потом указала на вторую - рослую женщину, у которой непрерывно тряслась голова:

- Это тетушка Жан-Жан, шестидесяти семи лет. Она почти слепая: во время пожара ей опалило лицо; кроме того, у нее обгорела правая нога.

И наконец показала на третью - карлицу с выпученными глазами, круглыми и тупыми, бегавшими во все стороны:

- Это Пютуа, блаженная. Ей только сорок четыре года.

Я поклонился всем трем женщинам, словно меня представили королевским высочествам, и, повернувшись к кюре, сказал:

- Господин аббат, вы замечательный человек, и мы все должны благодарить вас.

И в самом деле все смеялись, за исключением Марша, - он был взбешен.

- Сестра, кушать подано! - тотчас провозгласил Карл Масулиньи.

Я пропустил монахиню с кюре вперед, потом поднял тетушку Помель и, взяв ее под руку, потащил в соседнюю комнату, однако не без труда, потому что ее вздутый живот был, по-видимому, тяжелее металла.

Толстяк Пондрель подхватил тетушку Жан-Жан, которая со стонами просила дать ей костыль, а маленький Жозеф Эрбон занялся блаженной Пютуа и препроводил ее в столовую, где вкусно пахло жарким.

Как только мы уселись за стол, сестра трижды хлопнула в ладоши, и женщины точными движениями, как солдаты берут на караул, широко и быстро перекрестились. После этого священник не спеша прочитал полатыни *Venedicite*. {Благословите (лат.).}

Все расселись, и на столе появились две курицы, принесенные Марша, который предпочел прислуживать, чтобы только не принимать участия в этом нелепом ужине.

Но я крикнул: "Шампанского, живо!" Пробка хлопнула с треском пистолетного выстрела, и, несмотря на сопротивление кюре и монахини, три гусара, сидевшие возле трех калек, насильно влили им в рот по полному бокалу.

Масулиньи, отличавшийся способностью чувствовать себя повсюду как дома и ладить со всеми, самым забавным образом ухаживал за тетушкой Помель. Больная, сохранившая веселый нрав, несмотря на все свои

несчастья, отвечала ему шутками; говорила она таким фальцетом, что он казался искусственным, и так громко смеялась веселым выходкам соседа, что казалось, ее огромный живот вот-вот вспрыгнет и покатится по столу. Маленький Эрбон всерьез решил подпоить идиотку, а барон д'Этрейи, не отличавшийся живостью ума, расспрашивал тетушку Жан-Жан о жизни, укладе и правилах богадельни.

Испуганная монахиня кричала Масулиньи:

- О, вы ее уморите, не смешите ее так, умоляю вас, сударь! О сударь...

Затем, вскочив с места, она бросилась к Эрбону, чтобы вырвать у него из рук полный стакан, который он быстро вливал в рот Пютуа.

Кюре корчился от смеха, повторяя:

- Да оставьте, пусть выпьет разок. Ничего с ней не случится. Оставьте же.

Покончив с курами, принялись за утку, окруженную тремя голубями и дроздом, а затем появился дымящийся золотистый гусь, распространявший вокруг запах поджаренного жирного мяса.

Помель оживилась и захлопала в ладоши, Жан-Жан перестала отвечать на многочисленные вопросы барона, а Пютуа издавала радостное урчание, не то визг, не то стон, как маленькие дети, которым показали конфеты.

- Не позволите ли мне заняться этим зверем? - сказал кюре. - Я понимаю толк в этом деле.

- Ну, конечно, господин аббат.

А сестра прибавила:

- Что, если бы на несколько минут открыть окно? Им слишком жарко. Я боюсь, что они заболеют.

Я повернулся к Марша:

- Открой на минутку окно.

Он отворил окно; ворвался холодный воздух, колебля пламя свечей и относя в сторону пар, поднимавшийся от гуся, у которого священник искусно отрезал крылышки, повязав себе салфетку вокруг шеи.

Мы смотрели на него, перестав разговаривать, увлеченные ловкой работой его рук и чувствуя новый прилив аппетита при виде того, как он разрывает на части жирную подрумяненную птицу и как куски падают один за другим в коричневую подливку.

И вдруг среди этой чревоугодливой тишины, поглотившей все наше внимание, в открытое окно донесся звук далекого ружейного выстрела.

Я вскочил так быстро, что стул мой отлетел в сторону.

- По коням! - крикнул я. - Марша, возьми двух людей и узнай, в чем дело! Я жду тебя здесь через пять минут.

Три всадника понеслись галопом в ночь, я с двумя другими гусарами ждал их верхом, наготове, у крыльца дома, а кюре, монахиня и три богаделки испуганно высовывали головы из окон.

Вдалеке слышался только лай собак. Дождь прекратился, становилось холодно, очень холодно. И скоро я снова услышал галоп лошади, мчавшейся назад.

Это был Марша. Я крикнул ему:

- Ну, что?

Он отвечал:

- Пустяки. Франсуа ранил старого крестьянина, который не ответил на окрик: "Кто идет?" - и продолжал идти, несмотря на приказ остановиться. Впрочем, его несут сюда. Сейчас разберемся.

Я велел снова поставить лошадей в конюшню, послал двух солдат навстречу остальным, а сам вернулся в дом.

Потом я, кюре и Марша внесли в гостиную матрац для раненого; монахиня, разорвав салфетку, начала щипать корпию, а три растерявшиеся

женщины уселись в углу.

Вскоре я услышал бряцание сабель, волочившихся по мостовой; я взял свечу, чтобы посветить людям, и они появились, неся нечто неподвижное, беспомощное, вытянувшееся и зловещее, - то, во что превращается человеческое тело, когда в нем иссякает жизнь.

Раненого положили на приготовленный для него матрац, и с первого же взгляда я убедился, что он умирает.

Он хрипел и плевал кровью; алые струйки вытекали из уголков его губ при каждом приступе икоты. Он весь был в крови! Щеки, борода, волосы, шея, одежда, казалось, были вымочены, прополосканы в чану с чем-то красным. Кровь запеклась на нем и потемнела, смешавшись с грязью, так что страшно было смотреть.

То был старик, одетый в широкий пастушеский балахон; время от времени он приоткрывал тусклые, погасшие, лишенные мысли глаза, словно отупевшие от удивления, как у подстреленных охотником птиц, когда они падают к его ногам, почти уже мертвые, и смотрят на него, обезумев от ужаса.

Кюре воскликнул:

- Ах! Ведь это старик Пласид, пастух из Мулена! Он глухой, бедняга, и ничего не слышал. О боже мой, вы убили этого несчастного!

Расстегнув блузу и рубашку старика, сестра увидела на его груди маленькую фиолетовую дырочку, уже переставшую кровоточить.

- Ничего нельзя сделать, - сказала она.

Пастух, мучительно задыхаясь, при каждом своем предсмертном вздохе выплевывал сгустки крови, и в его горле и груди слышалось зловещее, непрерывное клокотание.

Кюре, стоявший над ним, поднял правую руку, перекрестил его и медленным, торжественным голосом начал читать по-латыни отходную.

Не успел он ее окончить, как старик дернулся в последнем коротком содрогании, словно внутри у него что-то порвалось. Он перестал дышать. Он был мертв.

Обернувшись, я увидел зрелище еще более страшное, чем агония этого несчастного: три старухи, отвратительные, с искаженными тоской и ужасом лицами, стояли, тесно прижавшись друг к другу.

Я подошел к ним, и они пронзительно закричали, пытаясь бежать, как будто я собирался убить их тоже.

Жан-Жан свалилась, растянувшись во весь рост на полу, потому что обгоревшая нога больше не держала ее.

Монахиня-бенедиктинка, оставив умершего, подбежала к своим калекам и, не сказав мне ни слова, не бросив взгляда, укутала их шальями, сунула им костыли, потащила к дверям, вывела из комнаты и исчезла вместе с ними в глубокой, беспросветной ночи.

Я понял, что нельзя даже послать гусара проводить их, так как один лязг сабли довел бы их до безумия.

Кюре, не отрываясь, смотрел на умершего.

Наконец он повернулся ко мне и сказал:

- Какая неприятная история!

В ЛЕСУ

Мэр садился завтракать, когда ему доложили, что полевой сторож ожидает его в мэрии с двумя арестованными.

Он тотчас же отправился туда и действительно застал там своего полевого сторожа, дядюшку Ошдюра, который с суровым видом караулил чету пожилых буржуа.

Мужчина, дородный отец семейства, красноносый, седой, казалось, чувствовал себя подавленным, тогда как женщина, разодетая по-праздничному, кругленькая, толстененькая мамаша с лоснящимися щеками, вызывающе смотрела на задержавшего их представителя власти.

Мэр спросил:

- Что случилось, дядюшка Ошдюр?

Полевой сторож дал следующие показания.

Он вышел утром в обычный час, чтобы сделать обход своего участка от леса Шампью до границы Аржантей. В поле он ничего особенного не заметил, за исключением того, что погода стоит прекрасная и хлеба всходят великолепно, но вдруг сын Бределей, который окучивал свой виноградник, крикнул ему:

- Эй, дядюшка Ошдюр, загляни-ка в кусты на Опушке, в первом участке; увидишь там парочку голубков, которым вместе лет сто тридцать по крайней мере.

Сторож отправился, куда ему указали, вошел в чащу и услышал слова и вздохи, заставившие его заподозрить, что там совершается преступление против нравственности.

Тогда он подкрался на четвереньках, словно выслеживая браконьера, и арестовал вот эту парочку в тот самый момент, когда она давала волю своим инстинктам.

Мэр с изумлением рассматривал виновных. Мужчине было лет шестьдесят с хвостиком, ей - по крайней мере, пятьдесят пять.

Он приступил к допросу, начав с мужчины, который отвечал таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

- Ваше имя?

- Никола Борен.

- Профессия?

- Торговец галантерейными товарами на улице Мучеников в Париже.

- Что вы делали здесь, в лесу?

Торговец молчал, опустив голову, уставившись на свой толстый живот и вытянув руки по швам.

Мэр продолжал:

- Вы отрицаете то, что утверждает представитель муниципальной власти?

- Нет, сударь.

- Значит, вы признаете это?

- Да, сударь.

- Что вы можете сказать в свою защиту?

- Ничего, сударь.

- Где вы встретились с вашей соучастницей?

- Это моя жена, сударь.

- Ваша жена?!

- Да, сударь.

- Тогда... тогда... вы, значит, не живете вместе... в Париже?

- Извините, сударь, мы живем вместе!

- Но... в таком случае... вы с ума сошли, совершенно с ума сошли, сударь, если вас застают при таких обстоятельствах, в открытом поле, в десять часов утра.

Торговец, казалось, готов был заплакать от стыда. Он пробормотал:

- Это она так хотела! Я ведь говорил ей, что это глупо. Но когда

женщине взбредет что-нибудь в голову... вы сами знаете... ее не переспоришь.

Мэр, любитель галльского остроумия, улыбнулся и ответил:

- В данном случае, видимо, вышло немножко не так. Вас не было бы здесь, если бы это взбрело в голову ей одной.

Тогда г-на Борена обуял гнев, и он повернулся к жене:

- Видишь, до чего довела ты нас со своей поэзией? Ну, что ты на это скажешь? Того и гляди, мы попадем под суд, - в наши-то годы! - за безнравственность! И нам придется закрыть лавочку, потерять покупателей, переехать в другой квартал. Что ты скажешь?

Г-жа Борен встала и, не глядя на мужа, безо всякого замешательства, без ложного стыда и почти не запинаясь, начала давать объяснения:

- Боже мой! Господин мэр, я отлично знаю, что мы попали в смешную историю. Так уж дайте мне выступить в свою защиту как адвокату, или, вернее, как несчастной женщине, и я уверена, что вы сразу отпустите нас и избавите от позорного судебного разбирательства.

Давно уже, еще совсем молоденькой, в один из воскресных дней я познакомилась с господином Бореном как раз в этих местах. Он служил приказчиком в галантерейном магазине, я - продавщицей в магазине готового платья. Помню все это, как будто дело было только вчера. Время от времени я приезжала сюда по воскресеньям с подружкой, Розой Левек: мы с ней вместе жили на улице Пигаль. У меня не было друга, а у Розы был. Он-то и возил нас сюда. Однажды в субботу он сказал мне, смеясь, что завтра приведет с собою товарища. Я отлично поняла, что у него на уме, но ответила, что это бесполезно. Я была благонравной девушкой, сударь.

Все же на следующий день мы оказались в вагоне вместе с господином Бореном. В ту пору он был недурен собой. Но я твердо решила не уступать, да так и не уступила.

Приехали в Безон. Была чудесная погода, стояли такие дни, что на сердце становилось веселее. В хорошую погоду я и теперь еще становлюсь последней дурой, а стоит мне очутиться за городом, и я совсем теряю

голову. Зелень, птички поют, нивы колышутся под ветром, ласточки проносятся так быстро, запах травы, маки, ромашки - все это сводит меня с ума! Это все равно как шампанское, если нет к нему привычки!

Так вот, был чудесный день, тихий, ясный; его отрада так и проникала в тело через глаза, с каждым взглядом, и через губы, с каждым вздохом. Роза и Симон поминутно целовались! Глядя на них, меня тоже начало разбирать. Мы с господином Бореном шли за ними; разговор у нас не вязался. Когда люди мало знакомы, не знаешь, о чем говорить. Он был робкий юноша, и мне нравилось его смущение. Так мы забрели в рощицу. Прохладно там было, как в купальне, и все уселись прямо на траву. Роза и ее дружок шутили над моим строгим видом, но, сами понимаете, не могла же я вести себя иначе. И вот они снова начали целоваться безо всякого стеснения, как будто нас и нет вовсе, и затем пошептались, поднялись и, не сказав ни слова, скрылись в кустах. Посудите сами, до чего неловко мне было перед молодым человеком, которого я видела в первый раз. Я так была смущена их уходом, что это даже придало мне храбрости, и я завязала разговор. Я спросила его, чем он занимается; он был приказчиком в галантерейном магазине, как я вам уже говорила. Мы поболтали несколько минут, он осмелел и уж хотел было позволить себе вольности, но я сразу осадила его, и очень круто к тому же. Правда, Борен?

Г-н Борен, смущенно созерцавший свои ноги, не ответил.

Она продолжала:

- Тогда он понял, что я благонравная девушка, и стал ухаживать за мной вежливо, как порядочный человек. Начиная с этого дня он приезжал каждое воскресенье. Он был очень влюблен в меня, сударь. И я тоже здорово влюбилась в него, здорово! Тогда он был хорош собой.

Короче говоря, в сентябре он женился на мне, и мы завели свою торговлю на улице Мучеников.

Долгие годы нам приходилось туго. Дела, шли неважно; где уж было тратиться на поездки за город... Да и охота к этому у нас пропала. Мысли стали другие: в торговом деле больше думаешь о кассе, чем о любовных шалостях. Мало-помалу мы старели, не замечая этого, как спокойные люди, которые больше уж и не помышляют о любви. Пока не заметишь,

чего тебе не хватает, об этом и не жалеешь.

Позднее, сударь, дела пошли лучше, и мы успокоились за будущее! Тогда-то вот и случилось со мной сама не знаю что, честное слово, не знаю!

Принялась я мечтать, как молоденькая пансионерка. Увижу тележку с цветами на улице, и слезы навертываются на глаза. Запах фиалок прямо преследовал меня, когда я сидела за кассой, и сердце от него начинало биться... Тогда я вставала и, подойдя к дверям, смотрела с порога на синеву неба между крышами. Когда смотришь на небо с улицы, оно напоминает реку: будто длинная убегающая вдаль река струится, извивается над Парижем, и ласточки скользят там, как рыбки. Конечно, глупо думать обо всем этом в моем возрасте! Но что поделать, сударь: всю жизнь работаешь, а потом наступает минута, когда видишь, что можно было жить как-то по-другому, и тогда начинаешь жалеть, и как еще жалеть! Подумайте только, ведь целых двадцать лет я могла бы вкушать поцелуи в лесу, как другие женщины! Я думала: хорошо бы лежать под листвой деревьев и любить кого-нибудь. И я думала об этом целые дни, целые ночи! До того истосковалась об игре лунного света на воде, что мне хотелось утопиться.

Первое время я и не смела заговорить об этом с Бореном. Я отлично знала, что он поднимет меня на смех и пошлет продавать те же иголки и нитки! Да и, сказать по правде, Борен уже не очень-то мне нравился; впрочем, смотрясь в зеркало, я понимала, что и сама больше никому не могу понравиться.

Но вот я набралась храбрости и предложила ему съездить за город в те места, где мы познакомились. Он согласился, ничего не подозревая, и вот мы приехали сегодня утром, около девяти.

Как только я очутилась среди хлебов, я почувствовала, что все во мне перевернулось. Не стареет женское сердце! И, право, я уж видела мужа не таким, какой он теперь, но таким, каким он был прежде! Клянусь вам, сударь. Право, я просто опьянела. Я бросилась его целовать, и он удивился этому еще больше, чем если бы я захотела его убить. Он только твердил: “Да ты с ума сошла! Ты с ума сошла сегодня! Что тебя разбирает?..”

А я, я не слушала его, я слушала только свое сердце. И я повлекла Борена в лес... Ну и вот!.. Я говорю вам правду, господин мэ, истинную правду.

Мэр был человек умный. Он встал, улыбнулся и сказал:

- Идите с миром, сударыня, и не грешите больше... под листвою.

СЕМЕЙКА

Я ехал повидаться с моим другом Симоном Радвенем, с которым не встречался целых пятнадцать лет.

Когда-то это был мой лучший, задушевный друг - друг, с которым проводишь долгие вечера, и тихие и шумные, которому поверяешь сердечные тайны, для которого находишь в мирной беседе изысканные, тонкие, остроумные, изящные мысли, рождаемые той душевной близостью, что возбуждает ум и открывает ему полный простор.

В течение ряда лет мы были неразлучны. Мы вместе жили, путешествовали, думали, мечтали, любили одинаковой любовью одно и то же, восхищались одними и теми же книгами, понимали одни и те же произведения искусства, трепетали от одних и тех же ощущений и так часто вместе смеялись над одними и теми же людьми, что с одного взгляда вполне понимали друг друга.

Потом он женился. Женился неожиданно на молоденькой провинциалке, приехавшей в Париж искать жениха. Каким образом эта маленькая блондиночка, худая, с нескладными руками, пустыми светлыми глазами, звонким глупым голоском, похожая на сотню тысяч других кукол на выданье, каким образом подцепила она этого умного и тонкого человека? Но разве такие вещи доступны пониманию? Он, наверное, мечтал о счастье, простом счастье, тихом и длительном, в объятиях хорошей, нежной и верной жены, и оно вдруг мелькнуло ему в прозрачном взгляде этой белобрысой девчонки.

Он не подумал, что человек деятельный, живой и впечатлительный неминуемо стоскуется в тисках пошлой жизни, если только не отупеет до такой степени, что перестанет что-либо понимать.

Каким я найду его? По-прежнему живым, умным, насмешливым и восторженным, или же провинциальная среда усыпила его? За пятнадцать лет человек может сильно измениться!

Поезд остановился на маленькой станции. Едва я вышел из вагона, какой-то толстый-претолстый краснощекий мужчина с круглым брюшком устремился ко мне и, раскрыв объятия, закричал: “Жорж!” Мы обнялись, хоть я его и не узнал. Потом я пробормотал с изумлением:

- Черт побери, ты не похудел!

Он ответил, смеясь:

- Что поделаешь? Хорошая жизнь, хороший стол, хороший сон! Ем и сплю - вот в чем мое существование!

Я всматривался в него, стараясь отыскать в этой расплывшейся физиономии любимые мною черты. Только глаза не изменились, но я не находил в них больше знакомого выражения и думал: “Если действительно взгляд - зеркало мысли, то в этой голове уже не те мысли, что были прежде, не те, что я знал так хорошо”.

Хотя его глаза поблескивали весело и дружелюбно, в них больше не было того свечения ума, которое не меньше, чем речь, свидетельствует о силе интеллекта.

Вдруг Симон сказал мне:

- Ну, а вот двое моих старших.

Девочка лет четырнадцати, почти девушка, и тринадцатилетний мальчик в форме ученика коллежа, неловкие и застенчивые, приблизились ко мне.

Я пробормотал:

- Это твои?

Он ответил, смеясь:

- Ну да.

- Сколько же их у тебя?

- Пятеро! Трое младших остались дома.

Он сказал это с гордостью, удовлетворенно и почти торжествующе, и меня охватила вдруг глубокая жалость, смешанная со смутным презрением к этому горделивому и наивному производителю, который жил в своем провинциальном доме, как кролик в клетке, и ночами, в перерыве между двумя сновидениями, зачинал детей.

Я сел в коляску, которой правил он сам, и мы поехали по городу, скучному, сонному, унылому городу, где ничто не оживляло улиц, за исключением нескольких собак и двух-трех нянек. Время от времени какой-нибудь торговец, стоявший на пороге своей лавчонки, приподнимал шляпу; Симон отвечал на поклоны, называя мне каждого по имени, - вероятно, с целью показать, что знает, как зовут всех жителей. Мне пришло в голову, уж не подумывает ли он пройти в депутаты, - мечта всех, кого засосала провинция.

Мы быстро миновали город; коляска въехала в сад, притязавший называться парком, и остановилась у дома с башенками, старавшегося выдать себя за замок.

- Вот и моя берлога, - сказал Симон, напрашиваясь на комплимент.

Я ответил:

- Прекрасный дом!

На крыльце появилась дама, разряженная для гостей, причесанная для гостей, с готовыми для гостей фразами. Это была уже не прежняя белокурая вялая девочка, которую я видел в церкви пятнадцать лет тому назад, а полная дама в кудряшках и в оборках, одна из тех дам, у которых нет ни возраста, ни характера, ни изящества, ни ума, - ничего, что создает

женщину. То была мамаша, толстая заурядная мамаша, наседка, производительница, машина плоти, которая рождает и не интересуется ничем, кроме своих детей и поваренной книги.

Она приветствовала меня, и я вошел в прихожую, где трое карапузов, выстроенные по росту, казалось, были выведены сюда на смотр, словно пожарные в ожидании мэра.

- Ага! Так это остальные? - воскликнул я.

Симон, сияя, назвал всех по именам:

- Жан, Софи и Гонтран.

Дверь в гостиную была отворена. Я направился туда и заметил нечто трепыхавшееся в кресле, - это был старый, парализованный человек.

Подошла г-жа Радвен:

- Мой дедушка, сударь. Ему восемьдесят семь лет.

Затем она крикнула дрожащему старцу в самое ухо:

- Это товарищ Симона, дедушка!

Предок сделал усилие, чтобы поздороваться со мной, и закудахтал: “Уа, уа, уа”, помахав рукой. Я ответил: “Вы очень любезны, сударь!” - и в изнеможении опустил на стул.

Симон, войдя, засмеялся:

- Ха-ха! Так ты уже познакомился с нашим дедушкой? Это уморительный старичок, потеха для детей. Он лакомка, мой дорогой, и за каждой трапезой готов обожраться до смерти. Ты не представляешь, сколько бы он съел, если бы дать ему волю! Но ты увидишь, увидишь! Он делает глазки сладким блюдам, как барышням. Ничего забавнее тебе во всю жизнь не встретится, да, впрочем, сейчас ты сам увидишь.

Потом меня повели в отведенную мне комнату, чтобы я переоделся, так как наступал обеденный час. Подымаясь по лестнице, я услышал громкий

топот и обернулся. Все дети шли за мной целою процессией, позади отца, - несомненно, чтобы оказать мне честь.

Моя комната выходила на равнину, бесконечную, совершенно гладкую равнину, на целый океан травы, пшеницы и овса, без единой рожицы, без единого холма, - поразительное и печальное подобие той жизни, которую, должно быть, ведут в этом доме.

Прозвенел звонок: звали к обеду. Я спустился. Г-жа Радвен торжественно взяла меня под руку, и мы прошли в столовую. Слуга подкатил кресло параличного; очутившись перед прибором, старик сразу бросил жадный, любопытный взгляд на десерт и с трудом поворачивал трясущуюся голову от одного блюда к другому.

Симон потирал руки. "Теперь ты позабавишься", - сказал он мне. И все дети, поняв, что меня хотят угостить зрелищем дедушки-лакомки, дружно рассмеялись, а мать только улыбнулась, пожав плечами.

Радвен приставил руки рупором к губам и завопил в ухо старику:

- Сегодня у нас сладкий рис со взбитыми сливками!

Сморщенное лицо дедушки засияло, и он еще сильнее затрясся с головы до ног, желая показать, что понял и доволен.

Обед начался.

- Смотри, - зашептал Симон.

Дедушка не любил супа и отказывался есть. Его принуждали к этому здоровья ради; слуга насильно вливал ему в рот полную ложку, а старик энергично отфыркивался, чтобы не глотать бульона, который, таким образом, струей вылетал на стол и на соседей.

Дети хохотали в полном восторге, а их папаша, тоже чрезвычайно довольный, повторял:

- Правда ведь, забавный старик?

В течение всего обеда занимались только им. Он пожирал взглядом

расставленные на столе блюда и трясущейся рукой старался схватить их и подвинуть к себе. Их ставили почти около него, чтобы полюбоваться тщетными усилиями параличного, судорожным устремлением, отчаянной тягой к ним всего его существа - глаз, рта, носа, вдыхавшего запахи. От жадности у него на салфетку текли слюни, и он издавал какое-то урчание. Все семейство наслаждалось этой гнусной и чудовищной пыткой.

Потом ему на тарелку клали крохотный кусочек, и старик съедал его с лихорадочной прожорливостью, чтобы поскорее получить что-нибудь еще.

Когда подали сладкий рис, у него начались почти что конвульсии. Он стонал от желания.

Гонтран крикнул:

- Вы ели уже слишком много, сладкого не получите!

И хозяйева сделали вид, что старику больше не дадут ничего.

Тогда он заплакал. Он плакал, дрожа все сильнее и сильнее, а дети хохотали.

Наконец ему принесли его порцию, крохотную порцию; когда он взял в рот первую ложечку, из его горла вырвался смешной и жадный звук, и он сделал движение шеей, как утка, заглатывающая слишком большой кусок.

Покончив со сладким, он начал топтать ногами, чтобы получить еще.

Проникшись жалостью к пытке этого трогательного и смешного Тантала, я вступился за него:

- Дайте же ему еще немного риса!

- Нет, дорогой мой, - ответил Симон, - в его возрасте вредно есть слишком много.

Я замолчал, раздумывая над этим ответом. О мораль, о логика, о мудрость! В его возрасте! Значит, беднягу ради его же здоровья лишают единственного удовольствия, которое он еще способен ощутить. Здоровье! Да на что оно этой неподвижной, дрожащей развалине? Чтобы продлить

его дни, как говорится. Его дни? Сколько же их осталось? Десять, двадцать, пятьдесят, сто? И зачем? Для него самого? Или затем, чтобы продлить для семьи зрелище его бессильной прожорливости?

Ему нечего было больше делать в этой жизни, нечего! Одно только желание осталось у него, одна радость; почему же не дать ему полностью эту последнюю радость? Даже если бы он и умер из-за нее!

Потом, после долгой игры в карты, я отправился к себе в комнату спать; мне было грустно, грустно, грустно!

Я подошел к окну. В саду слышалось только очень слабое, нежное и красивое щебетание птицы, сидевшей где-то на дереве. Птица баюкала свою самочку, заснувшую на яйцах, и тихо пела для нее среди ночи.

И я подумал о пятерых отпрысках моего бедного друга, который, должно быть, храпел в это время возле своей противной жены.

ИОСИФ

Молодая баронесса Андре де Фрезьер и молодая графиня Ноэми де Гардан были пьяны, совсем пьяны.

Они только что пообедали вдвоем в застекленной гостиной, выходящей на море. В отворенные окна вливался легкий, теплый и в то же время свежий ветер летнего вечера, сладостный ветер с океана. Молодые женщины, растянувшись на шезлонгах, потягивали теперь маленькими глотками шартрез, курили и поверяли друг другу свои сердечные тайны, те тайны, которые только это неожиданное приятное опьянение могло вызвать на их уста.

После завтрака мужья возвратились в Париж, оставив их одних в этом уединенном приморском местечке; мужья выбрали его, чтобы избежать праздных волокит, облюбовавших модные курорты. Отсутствуя пять дней в неделю, они боялись пикников, завтраков на свежем воздухе, уроков плавания и той внезапной короткости отношений, которая возникает в

безделье курортной жизни. Дьепп, Этрета, Трувиль казались им опасными; они сняли в долине Роквиль, близ Фекана, дом, построенный и брошенный каким-то чудаком, и упрятали туда своих супруг на все лето. Дамы были навеселе. Не зная, что придумать для развлечения, баронесса предложила графине изысканный обед с шампанским. Сначала они немало позабавились тем, что сами готовили этот обед, потом весело пообедали и основательно выпили, чтобы утолить жажду, вызванную жаром плиты. Теперь они болтали и дружно плели всякий вздор, покуривая, медленно смакуя шартрез. И, право, они уж сами хорошенько не понимали, что говорят.

Графиня полулежала, протянув ноги на спинку стула; она подвыпила еще больше, чем ее подруга.

- Чтобы как следует закончить такой вечер, - сказала она, - нам недостает поклонников. Если бы я предвидела это, то вызвала бы парочку их из Парижа и уступила бы тебе одного.

- Ну, я найду поклонника когда угодно, - возразила подруга. - Стоит только пожелать, и он будет у меня нынче же вечером.

- Да что ты! Это в Роквиле-то, милая? Только разве какой-нибудь мужлан.

- Нет, не совсем.

- Тогда расскажи!

- О чем же?

- Кто твой поклонник?

- Я не могу жить, дорогая, не будучи любимой. Если бы меня не любили, я бы, кажется, умерла.

- Я тоже.

- Не правда ли?

- Да! Мужчины не понимают этого! Особенно мужа!

- Совершенно не понимают. Да иначе и быть не может. Мы нуждаемся в любви, сотканной из баловства, милых шалостей, ухаживания. Это пища нашего сердца. Это необходимо для нашей жизни, необходимо, необходимо!..

- Необходимо.

- Мне надо чувствовать, что кто-то думает обо мне всегда, повсюду. Когда я засыпаю, когда просыпаюсь, мне надо знать, что меня где-то любят, мечтают обо мне, желают меня. Без этого я была бы несчастна, так несчастна! О, до того несчастна, что только плакала бы все время!

- Я тоже.

- Конечно, иначе и нельзя! Если даже муж и был нежен полгода, год или два, все равно он неизбежно становится извергом, да, настоящим извергом... Он уже ни в чем не стесняется, показывает себя во всей красе, устраивает сцены из-за счета, из-за каждого счета! Невозможно любить того, с кем живешь постоянно.

- Совершенно верно!

- Ты согласна?.. Впрочем, о чем это я? Совсем не помню.

- Ты говорила, что все мужья - изверги.

- Да, изверги... все!

- Конечно!

- Ну, а дальше?

- Что дальше?

- Что я говорила дальше?

- Не знаю, ты ничего еще не сказала.

- Но я хотела тебе что-то рассказать?

- Да, верно...

- А, вспомнила! Вот что!..

- Я слушаю.

- Я сказала, что всюду нахожу поклонников.

- Как ты это делаешь?

- Вот как. Слушай хорошенько. Приезжая на новое место, я сейчас же присматриваюсь и выбираю.

- Выбираешь?

- Ну да, черт возьми. Сначала я присматриваюсь. Осведомляюсь. Необходимо прежде всего, чтобы человек был не болтлив, богат и щедр. Не правда ли?

- Вот как?

- Потом нужно, чтобы он мне нравился как мужчина.

- Разумеется!

- Тогда я его приманиваю.

- Приманиваешь?

- Да, точь-в-точь, как делают, когда ловят рыбу. Ты никогда не удила?

- Нет, никогда.

- Напрасно. Это очень весело. И, кроме того, поучительно. Так вот, я его приманиваю...

- А как ты это делаешь?

- Что за вопрос! Глупая! Разве мы не привлекаем любых мужчин, каких хотим, не предоставляя им выбора? И они еще воображают, что выбирают сами... дураки... а выбираем всегда мы!.. Ты подумай: ведь если женщина недурна и неглупа, как мы с тобой, например, на нее имеют притязания все мужчины, все, без исключения. Ну, а мы присматриваемся к ним с утра и

до вечера, и когда наметим кого-нибудь, то приманиваем!

- Но все-таки как ты это делаешь?

- Как делаю?.. Да я ничего не делаю. Только позволяю смотреть на себя - и все.

- Позволяешь смотреть на себя?..

- Ну да. Этого достаточно. Когда позволишь несколько раз хорошенько посмотреть на себя, мужчина сразу же находит, что ты самая хорошенькая и соблазнительная из всех. Тогда он начинает за тобой ухаживать. Я же даю ему почувствовать, что и он недурен, разумеется, не говоря ему этого. Ну, он и влюбляется по уши. А уж тогда он в моих руках. Это продолжается более или менее долго, смотря по его качествам.

- И так ты ловишь всех, кого захочешь?

- Почти всех.

- Значит, бывают и такие, что сопротивляются?

- Иногда.

- Почему?

- О!.. Почему? Иосифами бывают по трем причинам. Потому что влюблены в другую. Потому что чрезмерно робки и потому что... как бы это сказать... потому что не способны довести победу над женщиной до конца...

- О, дорогая!.. Ты думаешь?..

- Да... да... Я в этом уверена. Мужчин последнего рода много, очень много... гораздо больше, чем думают. На вид они такие же, как все... так же одеты... И еще пыжятся, как павлины... Но я напрасно назвала их павлинами: распушить перья они как раз и не могут...

- О, дорогая!..

- Что же касается робких, то они иногда непреодолимо глупы. Они бывают так стыдливы, что не решаются раздеться, когда в их комнате есть зеркало, даже если им предстоит спать в полном одиночестве. С такими нужно быть познергичнее, прибегать к многозначительным взглядам, рукопожатиям. Но иной раз и это бесполезно. Они никогда не знают, с чего и как начать. Если в их присутствии падаешь в обморок, - а уж это - крайнее средство! - они приводят тебя в сознание... А помедли только прийти в себя... так они побегут за доктором... Я предпочитаю влюбленных в других женщин. Этих я беру штурмом... прямо... прямо... в штаны, моя дорогая!

- Все это хорошо, ну, а если нет мужчин, как здесь, например?

- Я их нахожу.

- Находишь? Где же?

- Везде. Кстати, ты напомнила мне о том, что я хотела рассказать. Два года тому назад я, по настоянию мужа, проводила лето в его имении Бугроль. Там не было никого... ну, понимаешь, совсем, совсем никого! В окрестных поместьях - какие-то противные олухи, охотники на зверя и птицу; живут в замках без ванн, вечно потеют, да так и заваливаются спать, не помывшись, и невозможно их исправить, до того они нечистоплотны, принципиально нечистоплотны. Ну-ка, догадайся, что я сделала?

- Не догадываюсь.

- Ха-ха-ха! Я прочитала кучу романов Жорж Санд, где она превозносит простолюдина, романов, где все труженики благородны, а все светские люди - преступники. Прибавь к тому же, что прошлой зимой я видела "Рюи Бласа" и эта пьеса произвела на меня огромное впечатление. Ну вот, у одного из наших фермеров был сын, красивый юноша, лет двадцати двух, сначала он учился на священника, а потом ему это надоело, и он бросил семинарию. Так я и взяла его к себе в качестве лакея!

- О! А дальше?..

- Дальше... дальше, дорогая, я обращалась с ним очень пренебрежительно и показывала ему себя, не стесняясь, во всех видах. Этого дикаря я не стала приманивать, его я просто разожгла!..

- Андре!

- Да, и меня это даже забавляло. Говорят, с прислугой нечего стесняться. Я с ним и не стеснялась. Я звонила, чтобы он являлся за приказаниями каждое утро, когда горничная одевала меня, а также каждый вечер, когда она меня раздевала.

- Андре!

- Он, милочка, запылал, как соломенная крыша. Тогда за столом я стала разговаривать только о чистоплотности: об уходе за телом, о душах, о купании. Результаты были столь удачны, что спустя две недели он утром и вечером купался в реке и до того душился, что отравлял весь дом. Я даже вынуждена была запретить ему духи, сердито заметив, что мужчины должны обходиться только одеколоном.

- Андре!

- Затем мне пришло в голову устроить сельскую библиотеку. Я выписала несколько сот нравоучительных романов и стала наделять ими всех наших крестьян и своих слуг. В мою библиотеку проскользнуло несколько книг... несколько... поэтических книг... таких, что будоражат воображение... пансионеров и учеников коллежей... Я давала их моему лакею. Это позволило ему познакомиться с жизнью... с особой стороной жизни...

- Андре!

- Затем я стала обращаться с ним запросто, начала говорить ему "ты". И прозвала его Иосифом. Дорогая, он был в таком состоянии... в ужасном состоянии!.. Он исхудал, как... как петух... и только вращал безумными глазами. Я от души забавлялась. Это был один из моих лучших летних сезонов.

- А потом?

- Потом... Да... Ну вот, однажды, когда мужа не было дома, я велела моему Иосифу заложить коляску и поехать со мной в лес покататься. Было жарко, очень жарко... Ну... и все!

- О, Андре, расскажи подробнее... Это так интересно!

- Хорошо, но выпей еще рюмочку шартреза, а не то я одна кончу весь графинчик. Так вот, мне дорогой сделалось дурно.

- Как это?

- До чего ты глупа! Я сказала ему, что чувствую себя плохо, и попросила перенести меня на траву. Очутившись на траве, я стала задыхаться и приказала расшнуровать меня. А когда он меня расшнуровал, я потеряла сознание.

- Совсем?

- О нет, не совсем.

- Ну?..

- Ну, мне пришлось почти час пролежать без сознания! Он все не находил лекарства. Но я была терпелива и открыла глаза только после его падения.

- О, Андре!.. Что же ты ему сказала?

- Я?.. Ничего! Ведь я же ничего не знала, раз я была без сознания. Я его поблагодарила. Велела посадить меня в коляску, и он отвез меня в замок. Только едва не вывалил, огибая ограду.

- Андре!.. И это все?..

- Все...

- Ты только раз теряла сознание?

- Конечно, только раз! Я вовсе не хотела делать этого увальня своим любовником.

- Ты его долго держала после этого?

- Да он и сейчас при мне. Чего ради его рассчитывать? Мне не в чем его упрекнуть.

- Андре! И он по-прежнему влюблен в тебя?

- Еще бы!

- Где же он?

Баронесса протянула руку и нажала кнопку звонка. Дверь отворилась почти сейчас же, и в комнату вошел высокий лакей, распространяя сильный запах одеколона.

- Иосиф, - сказала баронесса, - я боюсь, что мне станет дурно, пошли ко мне горничную.

Лакей стоял неподвижно, как солдат перед офицером, не сводя пылающего взора со своей госпожи, пока та не добавила:

- Ну иди же скорей, дуралей, мы не в лесу сегодня! Розали поможет мне лучше тебя.

Он повернулся на каблуках и вышел.

Графиня испуганно спросила:

- Но что ты скажешь горничной?

- Скажу, что все прошло! Нет, мне все же надо расшнуровать корсет. Это освободит грудь, и будет легче дышать. Я пьяна... милочка... так пьяна, что если встану, не удержусь на ногах.

ГОСТИНИЦА

Подобно всем деревянным гостиницам, расположенным высоко в Альпах у подножия ледников, среди скалистых и голых ущелий, пересекаемых белыми кряжами гор, гостиница Шваренбах служит пристанищем для путешественников, которые направляются через проход Жемми.

В течение полугода, пока она бывает открыта, там живет семья Жана

Хаузера; когда же снег заваливает долину и спуск к Лоэшу становится непроходимым, женщины, отец и трое сыновей уходят, оставляя в качестве сторожа старого проводника Гаспара Хари вместе с молодым проводником Ульрихом Кунси и большой горной собакой Самом.

В этой снежной тюрьме двое мужчин и собака живут до самой весны, ничего не видя, кроме огромного белого склона Бальмхорна, окруженные бледными и сияющими вершинами, запертые, осажденные, погребенные под снегом, который вздымается вокруг них, обступает, сдавливает, сжимает маленький дом, скопляется на крыше, застилавает окна и заваливает дверь.

Настал день, когда семья Хаузер должна была возвратиться в Лоэш; надвигалась зима, и спуск становился опасным.

Трое сыновей ушли вперед, сопровождая трех мулов, нагруженных разными пожитками и мелкой кладью. Немного погодя мать, Жанна Хаузер, и дочь, Луиза, взобрались на четвертого мула и тоже пустились в путь.

Следом за ними шел отец с двумя сторожами, которые должны были проводить семью до начала спуска.

Сперва они обогнули маленькое, уже замерзшее озерцо на дне огромного скалистого провала, который начинается перед самой гостиницей, потом пошли по белой, как полотно, долине, окруженной со всех сторон снежными вершинами.

Целый потоп солнечных лучей низвергался на эту белую блистающую ледяную пустыню, зажигая ее слепящим, холодным огнем; ни признака жизни не видно было среди этого океана гор, ни малейшего движения в этой бесконечной пустыне, ни звука, который нарушил бы глубокое безмолвие.

Мало-помалу молодой проводник, Ульрих Кунси, рослый, длинноногий швейцарец, обогнал Хаузера-отца и старика Гаспара Хари, чтобы приблизиться к мулу, на котором ехали женщины.

Младшая из них следила за его приближением и словно подзывала его печальным взглядом. То была юная белокурая крестьянка; ее щеки

молочной белизны и тусклые волосы, казалось, обесцветились от долгого пребывания среди ледников.

Подойдя к мулу, на котором она сидела, Ульрих положил руку на его круп и замедлил шаг. Хаузер-мать обратилась к нему и с бесконечными подробностями принялась повторять наставления относительно зимовки. Ему в первый раз предстояло остаться там, наверху, а старый Хари провел уже четырнадцать зим среди снегов в гостинице Шваренбах.

Ульрих Кунси слушал, видимо, ничего не понимая, и, не отрываясь, смотрел на девушку. Время от времени он повторял: “Хорошо, госпожа Хаузер”. Но его мысль, казалось, была далеко, а спокойное лицо оставалось бесстрастным.

Они достигли озера Даубе, продолговатая, обледенелая и совершенно плоская поверхность которого простиралась в глубине долины. Направо Даубенхорн выставлял свои черные островерхие утесы - рядом с огромными моренами Леммернского ледника, над которым навис Вильдштубель.

Когда они подходили к перевалу Жемми, откуда начинается спуск к Лоэшу, перед ними сразу открылся необъятный горизонт Валесских Альп, отделенный от них глубокой и широкой долиной Роны.

Под солнцем сверкало множество белых вершин разной высоты, то приземистых, то заостренных: двурогий Мишабель, мощный массив Висехорна, тяжелый Бруннегхорн, высокая и зловещая пирамида человекоубийцы Сервена и чудовищный щеголь Белый Зуб.

А внизу, в неизмеримом провале, в глубине какой-то страшной пропасти, они увидели Лоэш; домики там казались песчинками, рассыпанными по огромной расщелине, которая открывается на долину Роны, а заканчивается и замыкается перевалом Жемми.

Мул остановился у начала тропинки, фантастической и чудесной, которая, змеясь и извиваясь во все стороны, спускается по крутой горе до деревушки, почти незаметной у ее подножия. Женщины спрыгнули на снег.

Старики подошли к ним.

- Ну, прощайте, друзья, - сказал Хаузер-отец, - мужайтесь. До весны.

Хари ответил:

- До весны.

Они поцеловались. Г-жа Хаузер тоже подставила щеку остающимся, и девушка последовала ее примеру. Прощаясь, Ульрих Кунси шепнул на ухо Луизе: “Не забывайте тех, кто остался наверху”. Она так тихо ответила: “Хорошо”, - что он скорее догадался, чем услышал.

- Ну, прощайте же, - повторил Жан Хаузер. - Будьте здоровы.

И он начал спускаться впереди женщин.

Вскоре все трое исчезли за первым поворотом дороги.

Проводники повернули к гостинице Шваренбах.

Они шли медленно, рядом, не разговаривая. Кончено, они остались вдвоем на четыре или на пять месяцев.

Потом Гаспар Хари начал рассказывать, как он проводил прошлую зиму. Он жил с Мишелем Канолем, слишком уже старым теперь, чтобы зимовать здесь: мало ли что может случиться во время такого долгого уединения. Впрочем, они не скучали; все дело в том, чтобы сразу примириться с положением, а в конце концов всегда найдешь, чем развлечься; придумаешь игры и разные забавы, чтобы заполнить время.

Ульрих Кунси слушал его, потупившись, мысленно следя за теми, кто сейчас спускается к поселку по всем извилинам Жемми.

Скоро они увидели гостиницу, маленькое, почти незаметное черное пятнышко у подножия огромного снежного гребня.

Когда они открыли дверь, Сам, большой кудлатый пес, принялся скакать около них.

- Ну, сынок, - сказал Ульриху старый Гаспар, - теперь уж у нас нет женщин; нужно готовить обед; тебе придется начистить картошки.

И, усевшись на деревянные табуретки, они начали готовить похлебку.

Утро следующего дня показалось Ульриху Кунси очень долгим. Старый Хари курил и сплевывал в очаг, а юноша смотрел в окно на гору, сверкавшую перед домом.

После обеда он вышел и, отправившись той же дорогой, что и вчера, принялся искать на снегу следы мула, увозившего женщин. Дойдя до перевала Жемми, он растянулся на животе у края пропасти и стал смотреть на Лозш.

Деревушка, расположенная на дне скалистого колодца, еще не была погребена под снегом, хотя снег почти добрался до нее; путь ему преградил сосновый лес, защищавший окраину деревушки. Ее низенькие дома казались сверху булыжниками, разбросанными по полю.

Луиза Хаузер теперь была там, в одном из этих сереньких домишек. В котором? Ульрих находился слишком далеко, чтобы различить каждый из них в отдельности. Как хотелось ему спуститься вниз, пока еще было можно!

Но солнце исчезло за огромной вершиной Вильдштрубеля, и молодой человек вернулся домой. Старик Хари курил. Увидев возвратившегося товарища, он предложил ему сыграть в карты, и они уселись за стол друг против друга.

Они играли долго в несложную игру, именуемую “бриск”; потом, поужинав, легли спать.

И потянулись дни, похожие на первый: холодные, ясные, без снега. Старый Гаспар после обеда подкарауливал орлов и редких птиц, которые отваживались парить над льдистыми вершинами, а Ульрих неизменно отправлялся к перевалу Жемми смотреть на поселок. Потом они играли в карты, в кости, в домино, выигрывая и проигрывая разные пустяки, чтобы придать интерес игре.

Однажды утром Хари, вставший первым, окликнул своего сожителя. На них и вокруг них белой пеной опускалось зыбкое, глубокое и легкое облако, бесшумно и постепенно погребая их под плотной, тяжелой периной. Так длилось четыре дня и четыре ночи. Пришлось расчищать

двери и окна, пробивать проход и вырубать ступеньки, чтобы подняться на этот покров ледяной пыли, которая за двенадцать часов мороза стала крепче гранита морен.

Тогда они зажили как пленники, не решаясь выходить из своего жилища. Они разделили обязанности и строго их выполняли. Ульрих Кунси прибирал и мыл, взяв на себя всю заботу о чистоте. Он же колол дрова, а Гаспар Хари готовил пищу и следил за топкой. Эта работа, размеренная и однообразная, сменялась долгой игрой в карты или в кости. Они никогда не ссорились, так как оба были спокойны и добродушны. Никогда не обнаруживали даже досады или плохого настроения и не говорили друг другу колкостей, потому что заранее запаслись покорностью на весь срок зимовки в горах.

Иногда старый Гаспар брал ружье и отправлялся на охоту; время от времени ему удавалось убить серну. Тогда в гостинице Шваренбах бывал настоящий пир, праздник свежего мяса.

Однажды утром он отправился на охоту. Термометр показывал восемнадцать градусов мороза. Солнце еще не вставало, и охотник надеялся застигнуть животных на уступах Вильдштубеля.

Ульрих, оставшись один, провалялся до десяти часов. Он любил поспать, но не смел давать волю своей склонности в присутствии старого проводника: Гаспар, всегда бодрый, вставал очень рано.

Он неторопливо позавтракал с Самом, который также проводил дни и ночи в дремоте перед огнем; затем ему стало грустно, даже страшно от одиночества, и потребность обычной партии в карты овладела им с такой силой, с какой вспыхивает желание, порожденное непобедимой привычкой.

Тогда он вышел из дому навстречу своему товарищу, который должен был вернуться к четырем часам.

Снег выровнял всю глубокую долину, завалив расщелины, засыпав оба озера, запушив утесы; между огромных вершин образовалась как бы огромная лохань, белая, правильно закругленная, ослепительная, обледенелая.

Уже целых три недели Ульрих не возвращался к краю пропасти, откуда он смотрел на деревушку. Ему захотелось побывать там, прежде чем начать взбираться по склонам, ведущим к Вильдштубелю. Лоэш теперь тоже лежал под снегом, и дома, погребенные под этой белой пеленой, были почти неразличимы. Потом, повернув направо, он добрался до ледника Леммерн. Он шел обычным широким шагом горца, постукивая железным наконечником палки по снегу, твердому, словно камень. И зоркими глазами он старался найти вдали, на этой безграничной пелене, движущуюся черную точку.

У края ледника он остановился и задал себе вопрос, действительно ли старик отправился этой дорогой; затем он пошел вдоль морены более беспокойным и быстрым шагом.

Вечерело; снег розовел; сухой леденящий ветер проносился порывами над его хрустальной поверхностью. Ульрих издал призывный крик, пронзительный, долгий, дрожащий. Звук его голоса улетел в мертвое безмолвие спящих гор, промчался вдали над неподвижными, глубокими волнами ледяной пены, словно крик птицы над волнами моря, потом замер, и ничто не ответило ему.

Ульрих снова пустился в путь. Солнце зашло позади вершин, еще обогранных отблесками заката, но глубь долины темнела. И юноше вдруг стало страшно. Ему показалось, что молчание, холод, одиночество, зимний смертный сон этих гор проникают в него, что они остановят и остудят его кровь, заморозят тело, превратят его в неподвижное окоченелое существо. И он побежал в сторону своего жилища. Старик, думалось ему, уже возвратился домой: он шел другой дорогой, а теперь греется перед камином, и убитая серна лежит у его ног.

Вскоре стала видна гостиница. Но дымок не подымался из трубы. Ульрих побежал быстрее, открыл дверь. Сам, ласкаясь, бросился к нему, Гаспара Хари не было.

Растерявшись, Кунси озирался вокруг, словно рассчитывая обнаружить товарища где-нибудь в углу. Потом он развел огонь и приготовил суп, все еще надеясь, что старик вернется.

Время от времени он выходил взглянуть, не покажется ли Гаспар.

Наступила ночь, белесоватая горная ночь, иссиня-бледная, освещенная на краю горизонта тонким желтым серпом месяца, готового скрыться за вершинами.

Ульрих снова входил в дом, присаживался, отогревал руки и ноги и принимался размышлять о возможных несчастных случаях.

Гаспар мог упасть в яму, поскользнуться и вывихнуть или сломать себе ногу. И он лежит теперь в снегу, коченеет от холода, изнемогает и в отчаянии, быть может, кричит изо всех сил о помощи в ночной тишине.

Но где он? Горная цепь так огромна, так сурова, так опасна, в особенности теперь, зимой, что потребовалось бы десять, двадцать проводников и целая неделя поисков по всем направлениям, чтобы найти человека в этой беспредельности.

Ульрих Кунси решил, однако, отправиться на розыски с Самом, если Гаспар Хари не вернется к полуночи или к часу.

И он принялся за сборы.

Он положил в мешок съестных припасов на два дня, взял железные крючья, обмотал вокруг пояса длинную тонкую и крепкую веревку, проверил, в порядке ли окованная железом палка и кирка, которой вырубает ступеньки во льду. После этого он стал ждать. Огонь пылал в камине, большая собака, освещенная пламенем, храпела, часы, подобно сердцу, отбивали мерные удары в своем гулком деревянном футляре.

Он ждал, прислушиваясь к далеким шумам, вздрагивая, когда легкий ветер задевал крышу и стены.

Пробило полночь; он вздрогнул. И все еще чувствуя дрожь и страх, поставил на огонь воду, чтобы выпить горячего кофе, прежде чем пуститься в путь.

Когда пробило час ночи, он встал, разбудил Сама, открыл дверь и пошел по направлению к Вильдштрубелю. Он поднимался в продолжение пяти часов, карабкаясь на утесы при помощи крючьев, вырубая лед, взбирался все выше и порой подтягивал на веревке собаку, отстававшую на слишком крутом подъеме. Было часов шесть, когда он добрался до вершины, на

которую старый Гаспар зачастую приходил в поисках серн.

Здесь он решил подождать восхода солнца.

Небо бледнело над его головой, и вдруг необычайный свет, возникший неизвестно где, сразу озарил бесконечный океан бледных вершин, простиравшийся на сто лье вокруг. Этот смутный свет разливался в пространстве, излучаясь как будто из самого снега. Мало-помалу наиболее высокие дальние вершины приняли нежный телесно-розовый оттенок, и багряное солнце поднялось над грузными великанами Бернских Альп.

Ульрих Кунси пустился в путь. Он шел, как охотник, согнувшись, выискивая следы, повторяя собаке:

- Ищи, Сам, ищи.

Теперь он спускался с горы, всматриваясь в пропасти, и порой издавал протяжный призывный крик, сразу замиравший в немой бесконечности. Тогда он прикладывал ухо к земле, слушал, как будто различал чей-то голос, бросался бежать, снова звал и, не слыша больше ничего, выбившись из сил, садился в отчаянии. Около полудня он позавтракал и дал поесть Саму, уставшему не меньше его. Потом снова принялся за поиски.

Наступил вечер, а он все еще шел, пройдя уже по горам километров пятьдесят. Возвращаться домой было слишком далеко, а тащиться дальше у него не хватало сил, поэтому он вырыл в снегу яму и забрался в нее вместе с собакой, накрывшись одеялом, которое взял с собой. Человек и животное легли, прижавшись друг к другу, согревая один другого, и все же промерзли до мозга костей.

Ульрих почти не спал и дрожал от озноба, преследуемый видениями.

Когда он поднялся, уже начинался день. Ноги у него не сгибались, словно железные брусья, духом он ослабел настолько, что ему хотелось кричать от отчаяния, сердце колотилось так, что он едва не падал от волнения, когда ему чудился какой-то шум.

Внезапно он подумал, что и он может замерзнуть в этой пустыне, и ужас, подобный смерти, подстегнул его энергию и пробудил в нем мужество.

Он стал спускаться к гостинице, падая и вновь поднимаясь, а вдали за ним, ковыляя на трех лапах, плелся Сам.

Они добрались до Шваренбаха только к четырем часам дня. Дом был пуст. Молодой человек затопил камин, поел и заснул; он настолько отупел, что не думал больше ни о чем.

Он спал долго, очень долго, непробудным сном. Но внезапно чей-то голос, чей-то вопль, чей-то зов: “Ульрих!” - прервал его глубокое оцепенение и заставил его вскочить. Было ли это во сне? Был ли это один из тех непонятных призывов, которые вторгаются в сон встревоженной души? Нет, он еще слышал этот замирающий крик, проникший в его ухо и пронизавший все тело до кончиков дрожащих пальцев. Конечно, кто-то кричал, кто-то звал: “Ульрих!” Кто-то здесь, возле самого дома. В этом нельзя сомневаться. Он открыл дверь и крикнул во весь голос:

- Это ты, Гаспар?!

Никто не ответил; ни звука, ни шороха, ни стопа - ничего. Сгущалась ночь. Снег тускнел.

Поднялся ветер, ледяной ветер, от которого трескаются камни и погибает все живое на этих пустынных высотах. Он налетал внезапными порывами, более жгучими и смертоносными, чем порывы палящего ветра пустыни. Ульрих снова крикнул:

- Гаспар! Гаспар! Гаспар!

Затем он подождал. Все было безмолвно в горах. Тогда ужас потряс его существо. Одним прыжком он вскочил в дом, захлопнул дверь и задвинул засовы; потом, стуча зубами, упал на стул в уверенности, что его позвал товарищ в предсмертную минуту.

В этом он был так же уверен, как можно быть уверенным в том, что живешь или ешь хлеб. Старый Гаспар Хари где-то умирал два дня и три ночи, - в какой-нибудь расщелине, в одной из тех глубоких, девственно белых лоцин, белизна которых более зловеща, чем мрак подземелья. Он умирал два дня и три ночи и умер только что, думая о товарище. И его душа, едва освободившись, полетела к гостинице, где спал Ульрих, и позвала его по праву той таинственной и страшной власти, какую обладают

души умерших над живыми. Она кричала, эта безгласная душа, в усталой душе заснувшего; она кричала свое последнее прости, или упрек, или проклятие человеку, который слишком мало искал.

И Ульрих чувствовал ее здесь, совсем близко, за стеной дома, за дверью, которую он запер. Она носилась, как ночная птица, бьющаяся крыльями в освещенное окно, и юноша, обезумев, готов был завывать от ужаса. Он хотел бежать и не осмеливался выйти; он не решался сделать это и уже не решится никогда, потому что призрак будет днем и ночью здесь, возле гостиницы, пока тело старого проводника не будет найдено, пока его не похоронят в освященной земле кладбища.

Настал день, возвратилось, блистая, солнце, и Кунси немного пришел в себя. Он приготовил обед, сварил похлебку для собаки, а потом неподвижно сидел на стуле, терзаясь мыслью о старике, лежавшем на снегу.

Но как только ночная тьма снова одела горы, его начали осаждать новые ужасы. Теперь он расхаживал по темной кухне, еле освещенной одной свечой; он ходил взад и вперед большими шагами и прислушивался, прислушивался, не прорежет ли снова угрюмую тишину страшный крик, как в прошлую ночь. И он чувствовал себя таким одиноким, бедняга, как никогда еще не был одинок человек! Он был один среди огромной снежной пустыни, один на высоте двух тысяч метров над обитаемой землей, над жилищами людей, над жизнью, что волнуется, шумит и трепещет, один под этим ледяным небом! Безумное желание жгло его - бежать, все равно куда и все равно как спуститься в Лоэш, ринувшись в пропасть; но он не смел даже отпереть дверь, так как был уверен, что мертвец преградит ему путь, чтобы тоже не оставаться одному в горах.

К полуночи, устав от ходьбы, истомленный тоскою и страхом, он наконец задремал, сидя на стуле, потому что боялся своей постели, как боялся места, посещаемого призраками.

И внезапно его слух, как вчера, пронзил резкий крик, столь нестерпимый, что Ульрих, вытянув руки, чтобы оттолкнуть привидение, упал навзничь вместе со стулом.

Сам проснулся от стука, завыл, как воют испуганные собаки, и начал

бегать по дому, стараясь найти, откуда грозит опасность. Когда он подбежал к двери, шерсть его встала дыбом, и он стал обнюхивать порог, подняв хвост, фыркая и ворча.

Кунси поднялся, обезумев, и, подняв стул за ножку, закричал:

- Не входи! Не входи! Не входи! Не то я убью тебя!

А собака, возбужденная этой угрозой, принялась яростно лаять на невидимого врага, которому бросал вызов хозяин.

Мало-помалу Сам успокоился и снова растянулся возле очага, но оставался настороже, приподняв голову, сверкая глазами, рыча и скаля зубы.

Ульрих тоже пришел в себя; чувствуя, что теряет силы от ужаса, он достал в буфете бутылку водки и выпил одну за другой несколько рюмок. Мысли его путались, но мужество вернулось к нему, и лихорадочный огонь разлился по его жилам.

На следующий день он совсем ничего не ел и только пил водку. И несколько дней подряд он прожил в скотском опьянении. Как только мысль о Гаспаре Хари возвращалась к нему, он снова принимался пить и пил до тех пор, пока не валился на пол, совершенно охмелев. Лежа ничком, мертвецки пьяный, обессиленный, он храпел, уткнувшись лицом в землю. Но едва лишь огненная и одурманивающая жидкость переставала действовать, все тот же вопль: “Ульрих!” - пробуждал его, пронизывая ему череп, как пуля; и он вставал, пошатываясь, хватаясь руками за стены, чтобы не упасть, призывая Сама на помощь. Собака, которая, казалось, сходила с ума, как и ее хозяин, бежала к двери, царапала ее когтями, грызла длинными белыми зубами, а Ульрих, запрокинув голову и вытянув шею, жадно, словно холодную воду после бега, глотал водку, чтобы вновь усыпить мысль, и память, и безумный страх.

В три недели он прикончил весь запас спиртного. Но непрерывное опьянение лишь на время приглушало ужас, пробудившийся с еще большей силой, когда уже нечем было его унять. И тогда в его мозг стала, наподобие сверла, внедряться навязчивая мысль, подкрепленная целым месяцем пьянства и непрерывно развивавшаяся в полном одиночестве. Теперь он метался из угла в угол, словно зверь в клетке, прикивал ухом к

двери, прислушивался, не стоит ли за ней тот, другой, и грозил ему через стену.

А как только он засыпал, побежденный усталостью, ему снова слышался голос, и он вскакивал на ноги.

Наконец, однажды ночью, подобно трусу, доведенному до крайности, он бросился к двери и отворил ее, чтобы увидеть и заставить замолчать того, кто его зовет.

В лицо ему ударила струя холодного воздуха, прохватившая его до костей, и он захлопнул дверь и задвинул засовы, не заметив, что Сам выбежал наружу. Потом, дрожа, подбросил в очаг дров и сел перед ним, чтобы согреться, но внезапно весь затрепетал: кто-то с плачем царапался в дверь.

Обезумев, он закричал: “Уходи!” В ответ раздался жалобный, тягучий и скорбный стон.

Последние остатки его разума были сметены ужасом. “Уходи, уходи!” - повторял он, вертясь во все стороны, чтобы найти уголок, куда можно было бы спрятаться. А тот, другой, плача, бегал возле дома и царапал стену. Ульрих бросился к дубовому буфету, наполненному провизией и посудой, со сверхчеловеческой силой приподнял его и подтащил к двери, чтобы забаррикадировать ее. Потом, нагромоздив в кучу все остальные вещи - подушки, матрацы, стулья, - он завалил окно, как это делают, когда дом осажден врагом.

А тот, кто был снаружи, выпускал теперь заунывные вопли, на которые Ульрих стал отвечать такими же воплями.

Проходили дни и ночи, и они оба выли, не умолкая. Один непрерывно кружил возле дома и царапал стены с такой силой, как будто хотел их разрушить; другой, сидя внутри, согнувшись, прикинув ухом к стене, следил за каждым его движением и отвечал на его призывы отчаянными криками.

Однажды Ульрих не услышал больше ничего; он был настолько разбит усталостью, что, присев, тотчас заснул.

Когда он проснулся, в голове его не было ни единого воспоминания, ни единой мысли, как будто она совершенно опустела во время этого изнурительного сна. Он был голоден и поел.

.....

.....

Зима кончилась. Перевал Жемми очистился от снега, и семейство Хаузер отправилось в путь к своей гостинице.

Добравшись до гребня перевала, женщины сели на мула и стали говорить о двух мужчинах, которых им сейчас предстоит увидеть.

Они удивлялись, что ни тот, ни другой не спустился в деревню несколькими днями раньше, едва только дорога стала проходимой, чтобы рассказать о своей долгой зимовке.

Наконец вдали показалась гостиница, еще занесенная и заваленная снегом. Дверь и окно были закрыты, но слабый дымок поднимался над крышей, и это успокоило старика Хаузера. Однако, подойдя поближе, он заметил у порога расклеванный орлами скелет животного, большой скелет, лежащий на боку.

Все начали его рассматривать. “Это, должно быть, Сам”, - сказала мать. И позвала: “Эй, Гаспар!” В ответ из дома раздался пронзительный крик, похожий на крик какого-то зверя. Хаузер-отец повторил: “Эй, Гаспар!” Снова послышался крик, такой же, как первый.

Тогда трое мужчин, отец и оба сына, сделали попытку открыть дверь. Она не подавалась. Достав из пустого хлева длинную балку, они со всего размаха ударили ею, как тараном. Дверь крякнула, доски разлетелись в щепы; затем страшный грохот потряс весь дом, и они увидели за свалившимся буфетом человека, волосы которого отросли до плеч, борода покрывала грудь, глаза сверкали, а одежда висела на теле лохмотьями.

Они не узнавали его, но Луиза Хаузер воскликнула: “Мама, это Ульрих!” И мать убедилась, что это действительно Ульрих, хотя волосы его стали совершенно седыми.

Он позволил им войти, позволил прикоснуться к себе, но ни слова не отвечал на все вопросы; пришлось отвезти его в Лоэш, где доктора признали, что он сошел с ума.

И никто никогда не узнал, что случилось с его товарищем.

Луиза Хаузер чуть не умерла в то лето от какой-то изнурительной болезни, которую приписали холодному горному климату.

БРОДЯГА

Он шел уже сорок дней и всюду искал работы. Он покинул родные места - Виль-Аваре в департаменте Ламанш, - потому что не мог там найти работу. Плотничий подмастерье, двадцати семи лет от роду, честный, трудолюбивый мальчик, он, старший сын, целых два месяца сидел на шее своей семьи, и ему ничего не оставалось, как бездействовать, скрестив сильные руки, потому что кругом была безработица. Хлеб редко видели в доме; обе его сестры ходили на поденщину, но зарабатывали мало, а он, Жак Рандель, самый здоровый из всех, ничего не делал, потому что нечего было делать, и обедал других.

Он справился в мэрии, и секретарь сказал ему, что в центральной Франции еще можно найти заработок.

И вот, выправив бумаги и свидетельства, он пустился в путь с семью франками в кармане; за плечами на конце палки он нес узелок, где в голубом платке были завязаны пара запасных башмаков, штаны и рубаха.

Он шел без отдыха, днем и ночью, по бесконечным дорогам, под дождем и под солнцем, но все никак не мог достигнуть той таинственной страны, где рабочий люд находит работу.

Сначала он упрявился, считая, что ему полагается только плотничать, раз он плотник. Но во всех мастерских, куда он ни являлся, ему отвечали, что пришлось отпустить людей за отсутствием заказов; израсходовав почти все деньги, он решил браться за любую работу, какая только подвернется на пути.

И вот он по очереди побывал землекопом, конюхом, каменотесом; он рубил дрова, валил деревья, вырыл колодец, гасил известь, вязал хворост, пас в горах коз - и все это за несколько су, так как если он и получал изредка на два-три дня работу, то лишь потому, что низкая цена, какую он просил за свои услуги, соблазняла прижимистых подрядчиков и фермеров.

А теперь уже целую неделю он ничего не мог заработать, у него ничего не осталось, и он кое-как перебивался корками хлеба, которые, скитаясь по дорогам, вымаливал у дверей сострадательных хозяев.

Вечерело. Жак Рандель, еле волоча ноги, измученный голодом, в полном отчаянии брел босиком по траве вдоль дороги: он берег последнюю пару башмаков, потому что другой давно уж не стало. Дело было в субботу, поздней осенней порой. Ветер свистел в ветвях деревьев и быстро гнал по небу тяжелые, серые тучи. Собирался дождь. В тот вечер, накануне воскресенья, кругом было безлюдно. В полях там и сям торчали скирды обмолоченной соломы, похожие на огромные желтые грибы; земля же, засеянная к будущему году, казалась обнаженной.

Рандель чувствовал голод, зверский голод, тот голод, что заставляет волков кидаться на людей. Изнуренный усталостью, он шагал широко, чтобы ступать пореже; он шел, опустив голову, кровь стучала в висках, глаза покраснели, во рту пересохло, а в руке он сжимал палку, ощущая смутное желание хватить ею первого встречного, который идет домой, где его ждет ужин.

Он глядел по краям дороги - ему мерещились вырытые и оставшиеся на вскопанной земле картофелины. Если бы удалось найти несколько штук, он собрал бы валежник, разложил бы в канаве костер и, право же, отлично поужинал бы горячими, сытными овощами, подержав их сначала в озябших руках.

Но время уборки картофеля уже прошло, и ему оставалось лишь, как и

вчера, грызть сырую свеклу, вырванную из борозды.

Последние два дня он стал разговаривать вслух и шагал все быстрее, одержимый своими мыслями. До сих пор ему совсем не приходилось размышлять: весь свой ум, все свои несложные способности он вкладывал в труд. Но усталость, упорные поиски неуловимой работы, отказы, окрики, ночевки под открытым небом, голод, презрение к нему, к бродяге, которое он чувствовал у тех, кто жил оседло, ежедневно задаваемый вопрос: “Почему вы не живете дома?” - досада на то, что нечем занять свои работающие и умелые руки, воспоминание о родных, оставшихся дома и также не имевших ни единого су, - все это постепенно наполняло его яростью, накопившей с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой и вырывавшейся у него против воли в отрывистых гневных фразах.

Спотыкаясь босыми ногами о камни, он бормотал:

- Беда... беда... Ах, свиньи... оставляют человека подыхать с голоду... плотника... Ах, свиньи... и четырех су нет в кармане... и четырех су... а вот и дождь... Ах, свиньи!

Он негодовал на несправедливость судьбы и обвинял людей, всех людей в том, что природа, великая слепая мать, несправедлива, жестока и вероломна.

- Ах, свиньи! - повторял он, стиснув зубы и поглядывая на тонкие струйки сероватого дыма, подымавшегося над крышами в этот обеденный час. И, не вдумываясь в другую несправедливость, которую совершает уже сам человек и которая именуется насилием и грабежом, он испытывал желание войти в один из этих домов, убить хозяев и усесться за стол, на их место.

Он бормотал:

- Выходит, что я теперь не имею права жить... раз меня оставляют подыхать с голоду... а ведь я прошу только работы... Ах, свиньи!

Боль во всем теле, боль в животе от голода, боль в сердце ударяла ему в голову, как зловещее опьянение, и порождала в его мозгу простую мысль:

”Я имею право жить, потому что дышу, потому что воздух существует

для всех. Значит, меня не имеют права оставлять без хлеба!”

Шел дождь, мелкий, частый, ледяной. Рандель остановился и пробормотал:

- Вот беда... еще целый месяц шляться по дорогам, пока вернешься домой...

Теперь он уже возвращался домой, поняв, что в родном городке, где его знают, он скорее найдет хоть какую-нибудь работу, чем на проезжих дорогах, где все смотрят на него с подозрением.

Раз плотничьей работы больше нет, он станет чернорабочим, будет гасить известь, копать землю, дробить булыжник. Если он заработает в день хотя бы двадцать су, на хлеб все-таки хватит.

Он повязал шею обрывком своего последнего платка, чтобы холодная вода не затекала на спину и грудь. Но скоро почувствовал, что редкая ткань его одежды уже промокла насквозь, и с тоской посмотрел вокруг взглядом погибшего человека, который уж не знает, где найти приют, где преклонить голову, у которого во всем мире нет пристанища.

Надвигалась ночь, покрывая мраком поля. Вдали, на лугу, он заметил темное пятно - лежавшую на траве корову. Он перепрыгнул придорожную канаву и направился к ней, хотя и не вполне сознавал зачем.

Когда он подошел, она подняла свою большую голову, и он подумал: “Если бы у меня был горшок, я мог бы выпить молока”.

Он смотрел на корову, и корова смотрела на него; потом, внезапно ткнув ее со всего размаха ногою в бок, он крикнул:

- Вставай!

Она медленно поднялась, и вымя ее тяжело повисло; тогда парень лег на спину, под животом коровы, и начал пить. Он пил долго-долго, выдаивая обеими руками вздувшийся сосок, горячий и пахнувший стойлом. Он пил, пока хватило молока в этом живом источнике.

Ледяной дождь шел еще сильнее, а вся равнина вокруг была пустынна, и

укрыться было негде. Рандель озяб и глядел на огонек, мерцавший между деревьями, за окном какого-то дома.

Корова снова грузно опустилась на землю. Он присел возле нее, поглаживая ей голову в благодарность за то, что она его накормила. Густое и сильное дыхание, вырывавшееся из ноздрей животного, как две струйки пара в вечернем воздухе, обвевало лицо плотника, и он сказал:

- Там-то, в брюхе у тебя, не холодно.

Теперь он водил руками по ее груди и под мышками, ища немного тепла. И ему пришло в голову: а что, если улечься на землю и переночевать возле этого большого теплого брюха? Он отыскал местечко поудобней и лег, прислонившись головой к могучему вымени, которое только что напитало его. И тут же, разбитый усталостью, заснул.

Но он не раз просыпался, чувствуя, что у него коченеют то живот, то спина, смотря по тому, какой стороной он прижимался к животному; тогда он переворачивался, чтобы обогреть и обсушить ту часть тела, которая зябла от ночного воздуха, и сейчас же снова засыпал тяжелым сном.

Пение петуха подняло его на ноги. Заря разгоралась; дождь прекратился; небо было ясно.

Корова еще спала, положив морду на землю; он нагнулся к ней, опираясь на руки, поцеловал ее широкие влажные ноздри и сказал:

- Прощай, красавица... до следующего раза... ты славная скотинка... Прощай.

После этого он обулся и пустился в путь.

Часа два он шел все прямо и прямо по одному и тому же направлению; потом его охватила такая сильная усталость, что он сел на траву.

Начался день; в церквах звонили; мужчины в синих блузах, женщины в белых чепцах, одни пешком, другие взгромоздившись на тележки, все чаще попадались на дороге; они направлялись в соседние деревни, чтобы отпраздновать воскресенье в кругу друзей или родственников.

Показался толстый крестьянин, гнавший голов двадцать баранов; они блеяли и метались по сторонам, а проворная собака сгоняла их в стадо.

Рандель поднялся и снял шапку.

- Не найдется ли у вас какого-нибудь дела для рабочего человека? С голоду помираю, - сказал он.

Тот, бросив на бродягу злобный взгляд, ответил:

- У меня нет работы для всякого проходимца.

И плотник снова уселся у придорожной канавы.

Он долго ждал, глядя, как мимо проходят деревенские жители, и стараясь найти среди них добродушного с виду человека, увидеть соблезнующее лицо, чтобы повторить свою мольбу.

Он выбрал человека, одетого как буржуа, в сюртуке, с золотой цепочкой на животе.

- Уже два месяца я ищу работы, - начал он. - И ничего не нахожу, а в кармане у меня нет ни гроша.

Деревенский буржуа ответил:

- Вам следовало бы прочесть объявление, вывешенное при въезде в деревню. В нашей коммуне нищенство запрещено. Имейте в виду, что я мэр, и, если вы немедленно не уберетесь отсюда, я прикажу вас задержать.

Рандель, чувствуя прилив злобы, пробормотал:

- Ну и прикажите задержать, если вам угодно; мне это будет в самый раз: по крайней мере не подохну с голоду.

И он снова уселся у канавы.

Действительно, через четверть часа на дороге появились два жандарма. Они шли медленно, в ногу, на виду у всех, сверкая в лучах солнца лакированными треугольниками, желтыми кожаными перевязками и

металлическими пуговицами, как бы за тем, чтобы устрашать злоумышленников и уже издали обращать их в бегство.

Плотник понял, что они идут к нему, но он и не пошевелился, внезапно загоревшись глухим желанием бросить им вызов, попасть в тюрьму, а потом отомстить.

Они подходили, словно не замечая его, маршируя солдатским шагом, тяжелым и мерным, как гусиная поступь. Затем, поравнявшись с ним, они сделали вид, будто только что увидели его, остановились и принялись его рассматривать с угрожающим и сердитым видом.

Сержант подошел к нему и спросил:

- Что вы здесь делаете?

Рандель спокойно ответил:

- Отдыхаю.

- Откуда вы?

- Чтобы назвать вам все места, где я побывал, мне не хватило бы и часа.

- Куда вы идете?

- В Виль-Аваре.

- Где это?

- В департаменте Ламанш.

- Это ваша родина?

- Моя родина.

- Почему вы оттуда ушли?

- Искал работы.

Сержант повернулся к жандарму и сказал с негодованием, как человек,

которого одна и та же уловка выводит в конце концов из себя:

- Все эти бродяги твердят одно и то же. Но уж меня-то не проведешь!

Потом продолжал, обращаясь к Ранделю:

- Документы при вас?

- При мне.

- Покажите.

Рандель вытащил из кармана документы, свидетельства, - жалкие бумажонки, грязные и потрепанные, уже превратившиеся в клочья, и протянул их жандарму.

Тот, запинаясь, прочитал их по складам, потом, удостоверившись, что все в порядке, возвратил их с недовольным видом, как будто его перехитрили.

Немного подумав, он начал снова:

- Деньги у вас есть?

- Нет.

- Совсем нет?

- Совсем.

- Ни одного су?

- Ни одного су.

- На что же вы живете в таком случае?

- Мне дают.

- Значит, вы просите милостыню?

Рандель ответил решительно:

- Да, когда могу.

Жандарм провозгласил:

- Я застиг вас с поличным: вы бродяжничаете, нищенствуете на большой дороге, у вас нет ни средств к существованию, ни определенного ремесла; предлагаю вам следовать за мной.

Плотник поднялся.

- Как вам будет угодно, - сказал он.

И, не дожидаясь приказа, стал между двумя жандармами, прибавив:

- Что ж, сажайте меня. Хоть крыша будет над головой, когда пойдет дождь.

И они отправились к селению, черепичные крыши которого виднелись неподалеку сквозь обнаженные ветви деревьев.

Когда они проходили по селу, в церкви начиналась месса. Площадь была полна народу, и тотчас же образовалось два ряда зрителей, желавших поглазеть, как ведут злоумышленника, за которым бежит куча взбудораженных ребятишек. Крестьяне и крестьянки смотрели на арестованного, который шел между двумя жандармами, и в их глазах вспыхивала ненависть; их подмывало забросать его камнями, содрать с него ногтями кожу, затоптать его. Всем хотелось знать, что он сделал: украл, убил? Мясник, бывший спаги, утверждал: “Это дезертир”. Владелец табачной лавочки казалось, что он узнает человека, который в тот день утром всучил ему фальшивую монету в пятьдесят сантимов, а торговец скобяными товарами без обиняков признавал в нем неуловимого убийцу вдовы Мале, которого полиция разыскивала уже полгода.

В зале муниципального совета, куда жандармы ввели Ранделя, он увидел мэра, сидевшего за судейским столом, рядом с учителем.

- Ага! - воскликнул представитель власти. - Это опять вы, приятель! Я же сказал вам, что вы будете задержаны. Ну, сержант, что это за птица?

Сержант отвечал:

- Бездомный бродяга, господин мэр, не имеет, по его признанию, ни денег, ни имущества, задержан как нищий и бродяга, предъявил исправные свидетельства, документы в порядке.

- Покажите-ка мне их, - молвил мэр.

Он взял документы, прочел раз, другой, отдал обратно и приказал:

- Общайте его!

Ранделя обыскали; ничего не нашли. Мэр, казалось, был смущен.

- Что вы сегодня утром делали на дороге? - спросил он рабочего.

- Искал работы.

- Работы? На большой дороге?

- Как же, по-вашему, мне ее искать? В лесу, что ли, прятаться?

Они смотрели друг на друга с ненавистью зверей, принадлежащих к враждебным породам. Представитель власти продолжал:

- Я прикажу отпустить вас на свободу, но, смотрите, больше мне не попадайтесь!

Плотник ответил:

- Лучше бы вы меня задержали. Надоело мне шляться по дорогам.

Мэр принял суровый вид:

- Замолчите.

Потом приказал жандармам:

- Отвести этого человека за двести метров от деревни, и пусть идет своей дорогой!

Рабочий сказал:

- Прикажите хоть накормить меня по крайней мере.

Мэр возмутился:

- Недоставало только кормить вас! Ха-ха-ха! Нечего сказать, ловко придумал!

Но Рандель настойчиво продолжал:

- Если вы снова оставите меня подыхать с голоду, то сами толкнете на дурное дело. Тем хуже для вас, толстосумов.

Мэр встал и повторил еще раз:

- Уведите его поскорей, иначе я рассержусь вконец.

Жандармы тотчас подхватили плотника под руки и поволокли его. Он не сопротивлялся, снова пересек деревню и очутился на дороге; отведя его метров на двести от межевого столба, сержант объявил:

- Ну, теперь проваливайте, и чтоб я вас больше не видел, иначе будете меня помнить!

И Рандель снова пустился в путь, ничего не ответив и не отдавая себе отчета, куда идет. Он шел все прямо, минут пятнадцать - двадцать, до того отупев, что больше уже не думал ни о чем.

Но вдруг, когда он проходил мимо домика с полуоткрытыми окнами, запах супа проник ему в самое нутро и заставил его остановиться.

И голод, нестерпимый, дикий, ненасытный, сводящий с ума голод, сразу охватил Ранделя с такой силой, что он готов был, как хищный зверь, накинуться на стены этого жилья.

Он громко простонал:

- Черт возьми, уж на этот раз они угостят!

И принялся изо всех сил стучать палкой в дверь. Никто не ответил, и он застучал еще сильнее, крича:

- Эй! Эй, люди, эй! Кто там, откройте!

Ничто не шелохнулось в доме; тогда, подойдя к окну, он толкнул его рукой, и спертый воздух кухни, теплый воздух, насыщенный запахами горячей похлебки, вареной говядины и капусты, повалил навстречу холодному воздуху со двора.

Одним прыжком плотник очутился в комнате. Стол был накрыт на два прибора. Хозяева, наверно, пошли к мессе, оставив в печке обед - хороший, воскресный кусок мяса в жирном супе с овощами.

Свежий хлеб лежал в ожидании их на камине между двух бутылок, по-видимому, полных.

Рандель сначала набросился на хлеб и разломил его с таким остервенением, точно убивал человека, и принялся жадно есть, быстро глотая огромные куски. Но вскоре запах говядины привлек его к очагу; сбросив с котелка крышку, Рандель погрузил в него вилку и вытащил большой кусок мяса, перевязанный бечевкой. Потом он достал капусты, моркови и луку, наложил полную тарелку, поставил ее на стол, уселся, разрезал говядину на четыре части и пообедал, как у себя дома. Поглотив почти все мясо и большую часть овощей, он почувствовал жажду, подошел к камину и взял одну из стоявших там бутылок.

Как только жидкость полилась в стакан, он понял, что это водка. Ну и пусть, она согреет его, огнем пробежит по жилам, это неплохо будет после того, как он столько зябнул. И он выпил.

Он нашел, что это действительно неплохо, - ведь он уже отвык от водки, - и, снова наполнив стакан, осушил его в два глотка. Почти тотчас же он повеселел, оживился, как будто вместе с алкоголем ему в нутро излилось великое блаженство.

Он снова начал есть, но уже не торопясь, медленно жуя и обмакивая хлеб в суп. Все тело его пылало, особенно лоб, к которому прилила кровь.

Но вдруг вдали зазвонил колокол. Месса кончилась, и скорее инстинкт, чем страх, инстинкт осторожности, который руководит всеми существами и придает им пронизательность в минуту опасности, заставил плотника вскочить; он сунул в один карман остаток хлеба, в другой бутылку с

водкой, тихонько подошел к окну и выглянул на дорогу.

Она была совершенно безлюдна. Он выпрыгнул из окна и направился дальше; но теперь он пошел не большою дорогой, а побежал полем к видневшемуся недалеке лесу.

Он был весел, доволен тем, что сделал; он чувствовал себя ловким, сильным и настолько гибким, что перепрыгивал через полевые изгороди обеими ногами зараз, одним махом.

Едва очутившись под деревьями, он вытащил из кармана бутылку и начал на ходу пить большими глотками. Мысли его стали путаться, в глазах помутилось, а ноги сделались упругими, как пружины.

Он запел старинную народную песенку:

Ах, как славно,

Ах, как славно

Землянику собирать.

Теперь он шел по густому, влажному, зеленому мху, и этот мягкий ковер под ногами вызывал у него сумасбродное желание кувыркаться, как ребенок.

Он разбежался, перекувырнулся, встал и начал снова. И между прыжками продолжал петь:

Ах, как славно,

Ах, как славно

Землянику собирать.

Вдруг он очутился возле тропинки, тянувшейся по дну лощины, и заметил вдали рослую девушку: это возвращалась в деревню чья-то служанка, неся в руках два ведра с молоком, которые она держала на весу при помощи обруча.

Он подстерегал ее, пригнувшись, и глаза его горели, как у собаки, увидевшей перепелку.

Она заметила его, подняла голову, засмеялась и крикнула:

- Это вы так распеваете?

Он не ответил ни слова и спрыгнул вниз в овраг, хотя откос был высотой по крайней мере в шесть футов.

Неожиданно увидев его прямо перед собой, она воскликнула:

- Господи Иисусе, как вы меня напугали!

Но он не слышал ее слов, он был пьян, он обезумел, отдавшись во власть другого исступления, более гложущего, чем голод, воспламенившись алкоголем и непреодолимым неистовством мужчины, который два месяца был лишен всего, который хмелен, молод, пылок и сжигаем всеми желаниями, заложенными природой в могучую плоть самцов.

Девушка попятилась, испугавшись его лица, глаз, полураскрытого рта, вытянутых рук.

Он схватил ее за плечи и, не произнося ни слова, повалил на тропинку.

Она выронила ведра, которые с грохотом покатались, выплескивая молоко, затем закричала, но, понимая, что бесполезно звать на помощь в этом безлюдном месте, и видя теперь, что он вовсе не посягает на ее жизнь, она уступила, не особенно сопротивляясь и не очень сердясь, потому что малый был силен, хотя, правда, чересчур уж груб.

Но когда она поднялась, мысль о разлившихся ведрах сразу привела ее в ярость, и, сняв с ноги сабо, она, в свою очередь, бросилась на мужчину,

чтобы проломить ему голову, если он не заплатит ей за молоко.

Но он не понимал причины этого яростного нападения и, уже немного отрезвев, растерявшись, ужасаясь того, что наделал, бросился бежать со всех ног, а она швыряла ему вдогонку камни, и некоторые из них попадали ему в спину.

Он бежал долго-долго, потом почувствовал себя усталым, как никогда. Ноги его подгибались от слабости, все мысли спутались, он утратил представление о чем бы то ни было и ничего больше не соображал.

Он сел под деревом.

Через пять минут он уже спал.

Сильный толчок разбудил его. Открыв глаза, он увидел две лакированные треуголки, наклонившиеся над ним, и тех же двух жандармов, что и утром; они держали его и скручивали ему руки.

- Я так и знал, что опять тебя подцеплю, - сказал, ухмыляясь, сержант.

Рандель встал, не говоря ни слова. Жандармы трясли его и готовы были надавать ему пинков, если он сделает хоть один жест: ведь теперь он был их добычей, он стал тюремной дичью, пойманной этими охотниками на преступников, и они его уже не выпустят.

- Марш! - скомандовал жандарм.

Они двинулись. Наступал вечер, расстилая по земле осенние сумерки, тяжелые и зловещие.

Через полчаса они достигли деревни.

Все двери стояли настежь; события были известны всем. Крестьяне и крестьянки, возбужденные гневом, словно каждого из них ограбили, словно каждая из них была изнасилована, хотели видеть негодяя, чтобы осыпать его ругательствами.

Гиканье началось у первого же дома и закончилось у мэрии, где ожидал мэр, мстительно радовавшийся участи бродяги.

Едва завидев его издали, он крикнул:

- Ага, приятель! Попался!

И потер руки, довольный, как никогда.

- Ведь я это сразу сказал, как увидел его на дороге, - продолжал он.

Потом прибавил с удвоенной радостью:

- Ах, негодяй! Ах, гнусный негодяй! Наконец-то ты заработал себе двадцать лет!

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРЛЯ

(Первоначальный вариант)

Доктор Марранд, самый знаменитый, самый выдающийся наш психиатр, пригласил трех своих коллег и четырех ученых-естествоиспытателей заехать к нему в психиатрическую лечебницу, которой он заведовал: ему хотелось продемонстрировать им одного пациента.

Как только друзья его собрались, он сказал им:

- Более странного и более смущающего случая, чем тот, с которым я сейчас ознакомлю вас, мне еще не приходилось видеть. Не буду ничего говорить о моем пациенте. Он сам расскажет вам все.

И доктор позвонил. Слуга ввел больного. Это был непомерно худой мужчина, высохший, как скелет; такая худоба отличает безумцев, страдаемых какой-нибудь неотступной мыслью, - ведь заболевание мысли пожирает тело быстрее лихорадки или чахотки.

Он поклонился, сел и сказал:

- Господа, я знаю, для чего вы собрались, и готов рассказать вам о себе, как просил меня мой друг, доктор Марранд. Он долгое время считал меня сумасшедшим, теперь же усомнился в этом. Дайте срок, и вы все убедитесь, что мой ум так же здоров, так же ясен, так же трезво разбирается в действительности, как и ваш, - к несчастью для меня, для вас, для всего человечества.

Начну с фактов, с простейших фактов. Вот они.

Мне сорок два года. Я не женат, состоянием владею достаточным, чтобы жить с известной роскошью. Я жил в своем имении, в Бьессаре, на берегу Сены, неподалеку от Руана. Я люблю охоту и рыбную ловлю. Как раз позади моего дома на высоких скалах растет один из прекраснейших лесов Франции - Румарский лес, а перед домом течет река - одна из прекраснейших рек на свете.

Мой дом - большой, старинный, красивый и выкрашен снаружи в белую краску; вокруг него обширный сад с великолепными деревьями, взбирающийся по уступам скал, о которых я уже упомянул, до самой опушки леса.

Прислуга моя состоит, или, вернее, состояла, из кучера, садовника, лакея, кухарки и кастелянши, являющейся в то же время и чем-то вроде экономки.

Все они прожили у меня от десяти до шестнадцати лет, знают меня, знают весь домашний распорядок, местный край, всю ту среду, в которой протекала моя жизнь. То были добросовестные, спокойные слуги. Эти обстоятельства имеют значение для того, о чем я собираюсь рассказать вам.

Добавлю, что Сена, протекающая перед моим садом, судоходна до Руана, как вы это, вероятно, знаете, и что я видел каждый день, как по реке проплывают крупные суда, то парусные, то паровые, прибывающие со всех концов земли.

Так вот, позапрошлой осенью я почувствовал вдруг странное, необъяснимое недомогание. Сначала это было какое-то нервное

беспокойство, не дававшее мне спать по целым ночам, и такое повышенное возбуждение, что я вздрагивал от малейшего шума. Я стал раздражительным. У меня появились внезапные вспышки беспричинного гнева. Я позвал врача, и он прописал мне бромистый калий и души.

Я стал принимать души утром и вечером и начал пить бром. И, правда, сон вскоре вернулся ко мне, но этот сон был еще ужаснее, чем бессонница. Едва улегшись в постель, я закрывал глаза, и существование мое прекращалось. Да, я погружался в небытие, в абсолютное небытие, все мое существо словно уничтожалось - и из этого небытия резко исторгло меня ужасающее, мучительно страшное ощущение какой-то огромной тяжести, навалившейся мне на грудь, и чьих-то губ, которые, припав к моим губам, пьют мою жизнь. О, трепет этих пробуждений! Ничего ужаснее я не знаю.

Представьте себе, что человека во сне убивают, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая, - вот что испытывал я!

Я начал худеть, жутко, безостановочно, и заметил вдруг, что мой кучер, который был очень толст, худеет, как и я.

Наконец я спросил его:

- Что с вами, Жан? У вас больной вид.

Он отвечал:

- Боюсь, что я заболел той же болезнью, что и вы, сударь. Я провожу ночи, губительные для моих дней.

Я подумал, что, может быть, воздух в доме заражен миазмами лихорадки из-за близости реки, и уже собирался уехать месяца на два, на три, хотя был самый разгар охотничьего сезона, но тут один чрезвычайно странный и случайно мною подмеченный мелкий факт повлек за собою такую цепь невероятных, фантастических страшных открытий, что я никуда не поехал.

Однажды вечером мне захотелось пить; я выпил полстакана воды и при этом заметил, что графин, стоявший на комодe против моей постели, был полон до хрустальной пробки.

Ночью мне приснился один из тех ужасных снов, о которых я уже говорил вам. Проснувшись во власти смертельного страха, я зажег свечу и хотел было выпить воды, но остолбенел от изумления, увидев, что графин пуст. Я не верил своим глазам. Либо ко мне в комнату кто-то входил, либо я стал лунатиком.

На следующий вечер я решил сделать опыт. Я запер дверь на ключ, чтобы быть уверенным, что никто не может проникнуть в комнату. Я уснул и проснулся - так же, как и всегда. Вода в графине, которую я видел два часа назад, была выпита.

Кто выпил ее? Я, конечно, - и, однако, я был уверен, совершенно уверен в том, что и не пошевелился ни разу за все время, пока спал своим обычным глубоким и мучительным сном.

Тогда, желая убедиться в том, что я не совершил этих бессознательных поступков, я прибегнул к уловкам. Однажды вечером я поставил рядом с графином бутылку старого бордо, чашку с молоком - терпеть его не могу - и тарелку моих любимых шоколадных пирожных.

Вино и пирожные остались нетронутыми. Молоко и вода исчезли. Тогда я начал каждый день разнообразить напитки и кушанья. К твердым, плотным кушаньям не прикоснулись ни разу, из жидкостей же пили только свежее молоко и главным образом воду.

Мучительное сомнение все еще жило в моей душе. Не я ли все-таки бессознательно вставал и пил даже противные мне напитки? Ведь мои чувства, парализованные сомнамбулическим сном, могли измениться, я мог утратить обычное отвращение к этим напиткам, усвоить иные вкусы.

Тогда я прибегнул к новой хитрости, стремясь уличить самого себя. Я обмотал полосками белой кисеи все предметы, к которым мне неминуемо пришлось бы прикоснуться, и вдобавок закрыл их батистовой салфеткой.

Затем, ложась в постель, я натер себе графитом руки, губы и усы.

Когда я проснулся, ни на одном предмете не было ни малейшего пятнышка; однако к ним прикасались, потому что салфетка лежала не так, как я ее положил; вдобавок молоко и вода были выпиты. А между тем дверь, запертая прочным замком, и ставни, из осторожности тоже запертые

на всякие замки, никому не давали возможности проникнуть ко мне.

И тут я задал себе страшный вопрос: кто же находится здесь каждую ночь, возле меня?

Я чувствую, господа, что слишком тороплюсь. Вы улыбаетесь, вы уже составили себе определенное мнение: “Это сумасшедший”. Мне следовало бы подробно описать вам потрясение человека, который, запершись у себя в комнате, в здравом уме и твердой памяти, видит сквозь стекло графина, что за время его сна часть воды исчезла. Мне следовало бы дать вам почувствовать эту пытку, возобновляющуюся каждый вечер и каждое утро, и этот непреодолимый сон, и эти еще более страшные пробуждения.

Буду, однако, продолжать.

Внезапно чудеса прекратились. Ни к чему больше в моей комнате не прикасались. Все было кончено. Я поправился. Ко мне уже возвращалась былая веселость, как вдруг я узнал, что один из моих соседей, г-н Лежит, находится в таком же точно состоянии, в котором недавно находился я. И снова я подумал о влиянии местного воздуха, зараженного лихорадкой. Кучер мой ушел от меня месяцем раньше, окончательно расхворавшись.

Зима прошла, наступила весна. Однажды утром, когда я гулял у себя около клумб с розами, я увидел, ясно увидел, что совсем вблизи от меня стебель одной из красивейших роз сломался, словно чья-то невидимая рука сорвала ее; затем цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к устам, и один, без опоры, неподвижный, пугающий, повис в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился, чтобы схватить его. Но не нашел ничего. Он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя. Нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации.

Но действительно ли это была галлюцинация? Я огляделся, ища глазами стебель, и тотчас нашел его на кусте: излом был еще свежий, и на той же ветке виднелись две другие розы, одна справа, другая слева от него; всех их, я помнил ясно, было три.

Тогда, потрясенный до глубины души, я возвратился домой. Послушайте, господа: я совершенно спокоен; я не верил ни во что

сверхъестественное, не верю и сейчас; но с этого мгновения я убежден, так же убежден, как в чередовании дня и ночи, что со мною рядом находится некое невидимое существо: оно избрало меня своей жертвой, потом покинуло меня, а теперь вернулось опять.

Немного погодя я получил этому доказательство.

Между моими слугами начались беспрестанные, яростные ссоры по самым разнообразным поводам, внешне мелочным, но для меня исполненным значения.

Однажды, среди бела дня, по неизвестной причине разбился стакан, прекрасный стакан из венецианского стекла, стоявший на поставце в столовой.

Лакей сваливал вину на кухарку, кухарка - на экономку, а та - уж не знаю кого.

Двери, закрытые вечером, наутро оказывались открытыми. Кто-то каждую ночь воровал молоко из кладовой.

Что же это за существо? Какой породы? Нервное любопытство, смешанное с гневом и ужасом, не давало мне покоя ни днем, ни ночью.

Однако все в доме еще раз успокоилось, и я уже опять начал думать, что случившееся только сон, как вдруг произошло следующее.

Дело было 20 июля, в девять часов вечера. Было очень жарко; оставив окно в моей комнате настежь открытым, я растянулся в глубоком кресле; горевшая на столе лампа освещала том Мюссе, раскрытый на Майской ночи. Я задремал.

Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двигался, разбуженный каким-то странным, непонятным ощущением. Сначала я ничего не заметил; потом мне вдруг почудилось, что страница книги перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал, что будет дальше. Минуты через четыре я увидел, увидел, - да, господа, увидел собственными глазами, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно ее перевернула чья-то рука. Кресло мое казалось пустым, но я понял, что в нем сидит он, он! Одним

прыжком я пересек комнату, я хотел ощутить его, прикоснуться к нему, схватить его, если это окажется возможным... Но кресло, прежде чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то бросился бежать от меня; лампа упала и погасла, стекло разбилось, а окно захлопнулось со стуком, словно его с размаху закрыл грабитель, спасаясь от погони... О!..

Я кинулся к звонку и позвонил. Когда явился лакей, я сказал ему:

- Я все опрокинул и разбил. Принесите мне лампу.

Я уже не заснул в ту ночь. А ведь, может быть, я снова стал жертвой иллюзии. При пробуждении восприятия неотчетливы. Не сам ли я опрокинул кресло и лампу, когда ринулся, как безумец?

Нет, это был не я. Я это знал и не сомневался в этом ни на секунду. Но мне хотелось верить, что это был я.

Постойте. Это существо - как мне назвать его? Невидимкой? Нет, этого мало. Я дал ему имя Орля. Почему? Сам не знаю. Так вот, Орля с тех пор уже не покидал меня. Днем и ночью у меня было ощущение, нет, уверенность в присутствии этого неуловимого соседа, уверенность в том, что он пьет мою жизнь час за часом, минута за минутой.

Мысль, что я не могу видеть его, приводила меня в бешенство: я зажигал все лампы, которые у меня имелись, словно мог разглядеть его при их свете.

Наконец я увидел его.

Вы мне не верите. И все же я его видел.

Я сидел с какой-то случайной книгой не читая, но подстерегая всеми моими болезненно напряженными чувствами, подстерегая того, кто, как я сознавал, где-то рядом со мною. Несомненно, он был здесь. Но где? Что он делал? Как добраться до него?

Прямо против меня помещалась моя кровать: старая дубовая кровать с колонками. Направо камин. Налево дверь, тщательно мною запертая. Позади - большой зеркальный шкаф, перед которым я каждый день брился, одевался и, проходя мимо, по привычке, постоянно осматривал себя с

головы до ног.

Итак, я притворился, что читаю: я хотел обмануть его - ведь и он следил за мною. И вдруг я почувствовал, я ощутил уверенность, что он читает из-за моего плеча ту же книгу, что он тут и касается моего уха.

Я вскочил, я обернулся так быстро, что едва не упал. И что ж? Было светло, как днем... а я не увидел себя в зеркале! Залитое светом, оно оставалось пустым и ясным. Моего отражения в нем не было... А я стоял перед ним... Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел на зеркало безумными глазами и не смел шагнуть вперед, чувствуя, что оно, это существо, здесь между мной и стеклом, что оно вновь ускользнет от меня, но что его невидимое тело поглотило мое отражение.

Как я испугался! Затем вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу; мне казалось, что это вода медленно струится слева направо и мое отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения. То, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а походило на туманность, которая мало-помалу рассеивалась.

Наконец я мог с полной ясностью различить себя, как это бывало каждый день, когда я смотрелся в зеркало.

Я видел его! И еще доньше содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании.

На другой день я явился сюда попросить, чтобы меня приняли в лечебницу.

Перехожу к выводам, господа.

Доктор Марранд, после некоторых колебаний, решился наконец съездить в ту местность, где я жил.

Трое из моих соседей страдают в настоящее время той же болезнью, что и я. Не правда ли?

Врач ответил:

- Правда.

- Вы посоветовали им оставлять на ночь у себя в комнате воду и молоко, чтобы посмотреть, исчезнут ли эти жидкости. Больные так и сделали. Исчезли эти жидкости, как у меня?

Врач ответил с торжественной серьезностью:

- Исчезли.

- Это значит, господа, что на земле появилось какое-то Существо, новое Существо, и оно, конечно, не замедлит размножиться, как размножился человек.

А! Вы улыбаетесь? Почему? Потому, что это Существо остается невидимым? Но наш глаз, господа, является органом настолько неразвитым, что он еле-еле различает даже те вещи, которые необходимы для нашего существования. Все слишком малое ускользает от него, все слишком большое ускользает от него, все слишком далекое ускользает от него. Ему неведомы миллиарды маленьких существ, которые живут в капле воды. Ему неведомы обитатели, растения и почва ближайших звезд. Даже прозрачное - и то для него незримо.

Поставьте перед ним стекло без амальгамы, - он его не заметит и натолкнется на него; так птица, залетевшая в дом, разбивает себе голову об оконные стекла. Значит, наш глаз не видит твердых прозрачных тел, а они, тем не менее, существуют; он не видит воздуха, которым мы питаемся, не видит ветра, являющегося величайшей силой природы, ветра, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, под натиском которых рушатся гранитные скалы.

Нет ничего удивительного, что наши глаза не видят этого нового тела, которому, несомненно, не хватает только способности задерживать световые лучи.

Видите ли вы электричество? Однако оно существует!

Существует и тот, кого я назвал Орля.

Кто это? Господа, это тот, которого ждет земля вслед за человеком! Тот, кто явился, чтобы отнять у нас власть, поработить, укротить нас, - и, быть может, употребить нас в пищу, подобно тому, как мы питаемся коровами и кабанами.

На протяжении веков мы видим, что его предчувствуют, его боятся и его возвещают! Отцов наших вечно томил страх перед Невидимым.

Он пришел.

Все легенды о феях, о гномах, о неуловимых недобрых существах, бродящих в воздухе, - все эти легенды говорят о нем, о том, кого предчувствует встревоженный и трепещущий от страха человек.

И то, чем вы сами заняты вот уже несколько лет, господа, то, что вы называете гипнотизмом, внушением, магнетизмом, - все это возвещает его, пророчествует о нем!

Говорю вам: он пришел. Он бродит, сам еще неуверенный, как были не уверены первые люди, - он еще не знает своей силы, своей власти: скоро, слишком скоро узнает он их!

Я кончаю, господа. Вот случайно попавший мне в руки обрывок газеты, выходящей в Рио-де-Жанейро. Я читаю: “В последнее время в провинции Сан-Паоло свирепствует какая-то эпидемия безумия. Жители нескольких деревень бежали, бросив дома и земли; они уверяют, будто их преследуют и пожирают незримые вампиры, которые питаются их дыханием, когда они спят, и которые, кроме того, пьют только воду, а иногда молоко”.

Добавлю:

я отлично помню, что за несколько дней до первого приступа этой болезни, от которой я чуть было не умер, по реке проплыл, с распущенным флагом, бразильский трехмачтовый корабль... Я уже сказал вам, что дом мой стоит на берегу... Весь белый... Вероятно, он прятался на том корабле.

Мне нечего добавить, господа.

- Мне тоже, - промолвил негромко доктор Марранд, поднимаясь. - Не

знаю, безумец ли этот человек, или безумцы мы оба... или... или и впрямь явился на землю наш преемник.

ПРИМЕЧАНИЯ

Орля

Эта повесть, открывающая сборник, была переделана Мопассаном из первоначального варианта редакции (см. приложение) и появилась в печати только в настоящем сборнике.

Стр. 293. Александр Дюма-сын (1824-1895) - французский драматург, принадлежал к числу друзей Мопассана, хотя и был много старше последнего. Мопассан посвятил ему свою пьесу “Мюзотта”. Влияние Дюма-сына встречается в ряде произведений Мопассана; вопрос об этом еще не изучен. Дюма, в свою очередь, любил Мопассана и восхищался его творчеством. “Вы единственный автор, книг которого я жду с нетерпением”, - писал он Мопассану.

Стр. 305. Месмер (1733-1815) - немецкий врач, создатель теории “животного магнетизма”.

Любовь

Напечатано в “Жиль Блас” 7 декабря 1886 года.

Яма

Напечатано в “Жиль Блас” 9 ноября 1886 года.

Стр. 323. Ну и беги, Базен. - Речь идет об Ашиле Базене (1811-1888) - французском маршале, проявившем неспособность и трусость, граничившую с изменой, во время франко-прусской войны 1870-1871 годов; будучи приговорен в 1872 году к смертной казни, замененной тюремным заключением, Базен бежал из тюрьмы; эпизод его бегства Мопассан рассказывает в книге “На воде” (см. т. VII). В устах французской демократии 70-80-х годов имя Базена было бранным словом.

Избавилась

Новелла напечатана в “Жиль Блас” 22 декабря 1885 года. Сохраняем эту новеллу в сборнике “Орля” соответственно ее местонахождению в прижизненном издании. В издании Конара она произвольно перенесена в сборник “Маленькая Рок”.

Клошет

Новелла напечатана в “Жиль Блас” 21 декабря 1886 года.

Маркиз де Фюмроль

Новелла напечатана в “Жиль Блас” 5 октября 1886 года.

Стр. 337. Двенадцать лет сражался с ветряной мельницей республики. - Третья республика была провозглашена во Франции 4 сентября 1870 года, но в течение всех 70-х годов три монархические партии: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты - продолжали упорно бороться против республиканского принципа. Легитимисты, сторонники старшей ветви королевского дома Бурбонов, низложенной в 1830 году, имели своим претендентом в 70-х годах так называемого Генриха V; орлеанисты выдвигали на престол в 70-х годах графа Парижского, внука короля Луи-Филиппа; бонапартисты желали возвращения власти Наполеону III, а после его смерти - его сыну. В борьбе против республики все эти партии, стремившиеся сыграть на реакции, наступившей после гибели Парижской коммуны, объединялись в виде общемонархического блока; в 1873 году бонапартисты подавали, например, свои голоса за Генриха V и графа Парижского. Таким образом, если отец рассказчика боролся, сам хорошенько не зная, за кого, - это было делом довольно естественным и представляло собой прежде всего борьбу против республики.

Ныне он готов преломить копьё только за Орлеанов, потому что остались они одни. - Кандидаты бонапартистов, Наполеон III и его сын, умерли еще в 70-х годах: первый - в 1873 году, второй - в 1879 году; Генрих V умер в 1883 году. Действие новеллы приурочено, следовательно, к периоду 1883-1886 годов, но в эту пору республика уже окрепла, борьба монархических партий утратила прежнюю силу и часть монархистов искала примирения с новым строем. В этой обстановке не удивительно, что сенаторское кресло Третьей республики казалось отцу рассказчика гораздо устойчивее тронов соседних королей.

Знак

Напечатано в “Жиль Блас” 27 апреля 1886 года.

Дьявол

Напечатано в “Голуа” 5 августа 1886 года.

Крещенский сочельник

Напечатано в “Голуа” 23 января 1887 года.

Стр. 366. Наши отцы смеялись и на эшафоте - намек на французскую революцию XVIII века с ее террором против контрреволюционной аристократии.

В лесу

Напечатано в “Жиль Блас” 22 июня 1886 года.

Семейка

Напечатано в “Жиль Блас” 3 августа 1886 года.

Стр. 385. Тантал - мифологический герой, ввергнутый богами в преисподнюю, где ему предстояло вечно терзаться голодом и жаждой.

Иосиф

Напечатано в “Жиль Блас” 21 июля 1885 года.

Стр. 389. Иосифами бывают по трем причинам. - Речь идет о библейском персонаже Иосифе, проданном своими братьями в Египет, где он сделался управителем у вельможи Пентефрия; жена Пентефрия преследовала Иосифа своей любовью, но безуспешно. Образ Иосифа с акцентировкой его целомудренной чистоты многократно разрабатывался в искусстве; тем характернее юмористическое толкование Мопассаном этого образа.

Стр. 390. Жорж Санд (1804-1876) - речь идет о социальных романах Жорж Санд, написанных ею в 40-х годах и пользовавшихся большой популярностью.

”Рюи Блас” - романтическая драма Виктора Гюго, написанная в 1838 году. Драма с большим блеском и эффектной силой противопоставляет честного человека из народа развращенной и грабительской придворной аристократии.

Гостиница

Напечатано в журнале “Литература и искусство” 1 сентября 1886 года.

Бродяга

Напечатано в журнале “Новое обозрение” 1 января 1887 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Орля (первоначальный вариант)

Напечатано в “Жиль Блас” 26 октября 1886 года.

Ю. ДАНИЛИН

Данилин Ю.

Историко-литературная справка

Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений в 12 т. М., “Правда”, 1958 (библиотека “Огонек”). Том 6, с. 480-485. OCR; sad369 (28.06.2007)

Сборники рассказов Мопассана, объединенные в настоящем томе, были опубликованы в 1886-1887 годах.

Сборник “Господин Паран” был издан Оллендорфом в 1886 году. Некоторые французские биографы Мопассана (Мартино, Лаказ-Дютье) почему-то датировали этот сборник 1884 годом, хотя он состоит главным образом из новелл, печатавшихся в прессе 1885 года, причем позднее всего в прессе появилась “Са-Ира” - в ноябре 1885 года. Можно предполагать,

что сборник вышел из печати уже в начале 1886 года.

Сборник “Маленькая Рок” был выпущен Аваром в том же 1886 году. Сборник “Орля” вышел в издательстве Оллендорфа в 1887 году.

Все три названных сборника переиздавались при жизни Мопассана теми же издателями и без всяких изменений в составе новелл.

Из новелл, которые помещены в этом томе, внимание современников Мопассана всего более привлекла к себе повесть “Орля”, столь контрастирующая с обычным ясным и здоровым искусством Мопассана. Первый вариант этой повести, помещаемый нами в приложении, не заинтересовал читателя, но выход сборника “Орля” с этой переработанной и значительно расширенной повестью вызвал нечто вроде переполоха среди поклонников Мопассана, а некоторые из его друзей (поэт Огюст Доршен, Х. М. Эредиа, Ш. Лапьерр, Анри Ружон и др.) решили даже, что эта повесть - бред психически больного человека. Мнения читателей, однако, разделились, и у повести нашлись свои ценители, считавшие, что Мопассан только овладевает новым кругом тем, мастерски их разрабатывая.

Долгое время никто не мог понять, что, собственно, обозначает слово “Орля”. Критики, писавшие о Мопассане, порой уделяли гораздо больше внимания этимологической расшифровке этого слова, чем самой повести. Слово “Le Horla” принято теперь понимать как “Le hors la”, то есть “внешнее”, “находящееся за пределами действительности”, “потустороннее” (другими словами, то фантастическое, что окружает героя повести).

Как оценивал свою повесть сам Мопассан? В дневнике его слуги приведены следующие слова писателя, датированные июлем 1887 года: “Я отослал сегодня в Париж рукопись “Орля”; будьте уверены, не пройдет и недели, как во всех газетах напечатают, что я сошел с ума. Но пусть говорят, что им угодно; рассудок мой совершенно здоров, и когда я писал эту новеллу, то прекрасно сознавал, что делаю. Это - фантастическая вещь; в ней много странного, она поразит читателя, и у него не раз мурашки пробегут по спине. Скажу вам, впрочем, что многие из окружающих нас вещей ускользают от нашего внимания. Когда позднее обнаруживаешь их, то искренне удивляешься, каким образом не замечал их раньше. Вдобавок

наша апатия заставляет нас усматривать повсюду невозможное и неправдоподобное” (Souvenirs sur Guy de Maupassant par Francois, P. 1910, pp. 93-94).

Поэт Огюст Доршен, близко знавший Мопассана в его последние годы, передавал высказанное ему писателем признание о том, “что он не верит ни во что (потустороннее. - Ю. Д.), отрицает загробную жизнь, что он материалист и что фантастические рассказы вроде “Орля” вовсе не отвечают его личным переживаниям, а представляют собою только порождение холодной выдумки” (A. Lombroso. Souvenirs sur Guy de Maupassant, Rome. 1905, p. 56).

”Выдумка” Мопассана свидетельствовала, однако, о том, что писатель поддался в “Орля” распространенным в ту пору влияниям литературы декаданса, которая стала сильно развиваться во Франции в 80-х годах; для нее характерен был уход от окружающей действительности к крайнему субъективизму, мистике, иррациональному. Не поддаваясь влияниям декаданса в своем художественном методе, Мопассан начинал поддаваться им в тематическом отношении, о чем и свидетельствует повесть “Орля”.

Критик Леопольд Лакур, познакомившийся с Мопассаном в 1887 году, отметил в письме к Лумброзо, что в “Орля” проявилось “опасное влияние оккультных наук”. По-видимому, это было так, и недаром различные мистики, маги и оккультисты, духовные вожди символизма и декадентства, столь обильно расплодившиеся во Франции в конце XIX века, сделали даже попытку зачислить Мопассана по своему “ведомству”. Так, например, некий Жорж Биту бесцеремонно объявлял Мопассана “пылким сторонником оккультистских доктрин, серьезно осведомленным в этой области, хотя он никогда этого ясно и не высказывал” (G. Vitoux. Les coulisses de l’Au-dela, P. 1901, p. 257).

Тему “Орля” Мопассан получил от своего друга, писателя Леона Энника. Но если тема и пришла извне, то она ответила некоторым личным настроениям Мопассана, связанным с нервным заболеванием писателя, которое с течением времени все обострялось.

Давно уже обеспокоенный состоянием своего здоровья, подмечая с обычной своей цепкой и беспощадной наблюдательностью все признаки болезни, наблюдая появление новых симптомов, вроде расстройств

зрения, постоянно обращаясь к докторам, волнуясь и тревожась, писатель, помимо всех прочих жизненных интересов, стал проявлять устойчивый и напряженный интерес к болезненным процессам нервно-психической жизни и неожиданно для самого себя обрел в них новый творческий материал. Огюст Доршен совершенно основательно не верит заявлению Мопассана о том, что в “Орля” вовсе нет ничего лично пережитого.

Любопытно отметить значительную разницу между первым и вторым вариантами “Орля”. Критик П. Мартино характеризует ее следующим образом: “В 1886 г. Мопассан написал первую редакцию “Орля” - очень холодный и сухой рассказ... В 1887 г. он переделывает этот рассказ, усложняя его данными недавно прочитанных книг о гипнотизме; он превращает рассказ в кропотливый и полный тревоги дневник, куда включает и весь опыт личных переживаний - прогрессивное развитие своих галлюцинаций и свое сопротивление им” (P. Martino. *Le naturalisme francais*, P. 1923, p. 144). Так как тема была получена Мопассаном от другого лица, то вполне возможно, что в первоначальном варианте “Орля” она еще не срослась органически со “всем опытом личных переживаний” писателя, а это и повело к ее переработке. Не менее справедливо и указание Мартино, что материалом повести послужили также и “данные недавно прочитанных книг”.

В 1885-1887 годах во Франции появилось более шестидесяти работ о неврозе, гипнотизме, внушении и навязчивых идеях. Значительную часть этой литературы Мопассан, безусловно, знал. Известно также, что в связи с “Орля” он посещал лекции профессора Шарко в Сальпетриере, посвященные болезням нервной системы. Таким образом, далеко не одни “личные переживания” Мопассана лежат в основе “Орля”, и, по-видимому, они как раз еще не были настолько выразительны и сильны, чтобы их легко было интерпретировать.

Восхищаясь тем, с какой ясностью описаны в “Орля” симптомы расстройства зрения или мания преследования, врачи, писавшие о Мопассане, видят в этом несомненное и невольное самопризнание душевнобольного. Но потому-то, повторяем, все это так безупречно и обрисовано, что художник-реалист считал себя обязанным обратиться к научным данным, чтобы составить себе безусловно точное и ясное представление о механизме душевной болезни и со всей верностью и полнотой его воспроизвести.

Укажем наконец на то, что и в творчестве, и в мировоззрении, и в ежедневной жизненной практике Мопассану были присущи реакции трезво мыслящего человека, последователя естественнонаучного материализма. В этой связи, а также в виде ответа на беспардонные утверждения Жоржа Виту полезно остановиться на следующем свидетельстве Поля Бурже.

”С 1884 г. он (Мопассан. - Ю. Д.) был жертвою жестоких нервных и к тому же весьма странных явлений, - пишет Бурже, - и он старался защититься от них при помощи своего ясного рассудка, который составляет лучшую часть его таланта. Я приведу доказательство, которое никогда не оглашал при его жизни... Меня извинят, если этот анекдот носит слишком личный характер. В этом гарантия его достоверности. Мы должны были отправиться вместе с Мопассаном в больницу Лурсин, где преподавал тогда доктор Мартино, личный друг Мопассана. Он зашел за мною и застал меня под впечатлением одного сна, почти мучительного по силе и яркости. Во сне я видел, как умирал один из наших собратьев по прессе, Леон Шапрон, видел его смерть и все последующие за этой смертью события, спор о его замещении в газетах, спор об условиях его похорон, - и все это с такой ужасной точностью, что, когда я проснулся, этот кошмар преследовал меня, словно какое-то наваждение. Я рассказал этот сон Мопассану, который с минуту был поражен, а потом спросил меня: “А вы знаете, что с ним?” “Так он болен?” - спросил я. “При смерти. Еще раз, - вы не знали этого?” “Абсолютно нет”. И это была правда. Некоторое время мы были ошеломлены этим странным предчувствием, которому предстояло осуществиться несколько дней спустя. Между прочим, это - единственное явление подобного рода, в котором я со своей стороны не мог сомневаться. Но я вспоминаю, что удивление Мопассана длилось недолго. “Есть какая-то причина этому, - сказал он со своей обычной былой бодростью, - и ее надо отыскать”. В конце концов оказалось, что я получил одно письмо от Шапрона недели две тому назад. Я достал его, и Мопассан, взглянув на почерк, показал мне, что некоторые его буквы были немного дрожащими. “Это почерк больного, - утверждал он, - вы заметили это, не отдавая себе отчета, вот и причина вашего сна... Нет ничего на свете, чему нельзя найти объяснение, если отнестись к этому с вниманием” (Paul Bourget. *Socioiogie et litterature*, P. 1906, pp. 316-318).

Столкнувшись с таким внешне иррациональным фактом, как “вещий” сон Поля Бурже, Мопассан, как видим, вовсе не устремляет свое внимание на какие бы то ни было потусторонние проблемы, а ищет “земную”

причину этого факта. Такова его непосредственная реакция. И он со всей уверенностью и убежденностью находит эту “земную”, материалистическую причину.

Таким образом, поддавшись в “Орля” влиянию декаданса, влиянию оккультной литературы, беря материалом повести свои собственные переживания, подкрепленные изучением научных трудов, Мопассан не мог не подойти совершенно реалистически к разработке темы в силу всех своих особенностей материалистически мыслящего художника.

Повесть “Орля”, следовательно, еще не утверждает тезиса о безусловном существовании потустороннего. Она представляет собою искусно прослеженный художником-реалистом бред психически больного человека, тончайший анализ дум, чувств и настроений рассказчика во всей смене их колебаний, чередования моментов возбуждения и успокоенности, прояснения сознания и новой болезненной вспышки, борьбы здорового начала с больным.

То обстоятельство, что Мопассан подходит к теме “Орля” реалистически, явствует и из композиции повести. Читая “Орля”, кажется, что как будто именно по поводу этой повести и сказал Чехов свою знаменитую фразу о ружье, которое должно выстрелить в конце рассказа, если оно мимоходом упомянуто в начале. Композиция “Орля” математически точна. Казалось бы, зачем рассказчику так внимательно описывать на первой странице великолепный корабль и упоминать, что он из Бразилии? Но это мост к концу повести. К чему, казалось бы, пространное описание внушения, которому подверглась знакомая рассказчику дама? А это нерв всей повести. К чему слова монаха о том, что ветер недоступно видеть людям? К чему эпизод с оторванной и поднявшейся на воздух розой? Все та же подготовка тезиса о невидимке.

Композиционно повесть сделана так, что ее финал начинает подготавливаться, очень осторожно и тонко, с самой первой страницы. И с этим вполне согласуются вышеприведенные высказывания Мопассана по поводу “Орля”, а также указание издателя Конара, что рукопись второго варианта повести “написана почти без помарок и вполне уверенным почерком”.

Мопассан мог быть больным человеком, но эта повесть вовсе не

написана больным художником: тут спора быть не может. Тем не менее настойчивый интерес писателя к теме “Орля”, к теме невидимки, свидетельствует о начале нового этапа в творчестве Мопассана, этапа, ознаменованного кризисом реализма и усиливающимися влияниями декаданса.